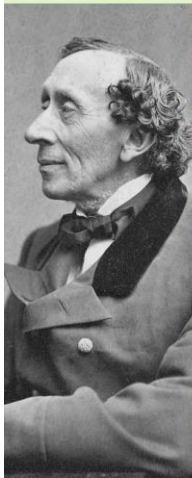


Андерсен Ганс Христиан



Импровизатор



Аннотация

Роман написан в 1835 году под впечатлениями от поездки автора в Италию. Все, что касается итальянской природы, жизни римской бедноты, уличных сцен, изображено интересно, ярко, юмористично. Однако издать книгу автору удалось с трудом. Пришлось собирать деньги по подписке и выпрашивать их у друзей. Выручка была самая жалкая. Но когда роман вышел в свет, успех его был настолько велик, что вскоре потребовалось второе издание. Критики писали, что Андерсен «поднялся на огромную высоту, доказав это самым блестящим образом в своем романе». «Импровизатор» был началом успехов писателя. Именно с него начинается новая эра в его жизни.

Книга была переведена на многие языки, в том числе на русский, и выдержала много изданий. В 1835 году появился и первый сборник под названием «Сказки, рассказанные детям». Он состоял из четырех сказок знаменитого сказочника. Перу Андерсена принадлежат и такие произведения: «Теневые картины», «Базар поэта», «По Швеции».

Ганс Христиан Андерсен Импровизатор

Часть первая

Глава I. Первая обстановка моего детства

Кто бывал в Риме, хорошо знает площадь Барберини с ее чудным фонтаном: тритон опрокидывает раковину, и вода бьет из нее в воздух высокой струей. Кто же не бывал там, знает ее по гравюрам. Жаль только, на них не видно высокого дома, что на углу улицы Феличе; из стены его струится вода и сбегает по трем желобкам в каменный бассейн. Дом этот представляет для меня особый интерес — я родился в нем. Оглядываясь назад, на свое раннее детство, я просто теряюсь в хаосе пестрых воспоминаний и сам не знаю, с чего начать. Охватив же взором драму всей моей жизни, я еще меньше соображаю, как мне изложить ее, что пропустить как несущественное и на каких эпизодах остановиться, чтобы нарисовать возможно полную картину. Ведь то, что кажется особенно интересным мне самому, будет, может быть, безразличным для лица постороннего! Мне хотелось бы рассказать все правдиво и без всяких

прикрас, но — тщеславие, это несносное тщеславие, желание нравиться! Оно уж непременно впутается и сюда! Оно было посеяно во мне, еще когда я был ребенком, разрослось с тех пор, как евангельское горчичное зерно, в целое дерево, и в ветвях его свили себе гнезда мои страсти. Вот одно из первых моих воспоминаний, уже ясно указывающее на эту черту моего характера.

Было мне около шести лет от роду; я играл с другими детьми возле церкви капуцинов; все мои товарищи были моложе меня. К церковным дверям был прибит небольшой медный крест; помещался он почти как раз на самой середине двери, и я только-только мог достать до него рукой. Матери наши всякий раз, как мы проходили с ними мимо этой двери, подымали нас, ребят, поцеловать священное изображение. Теперь мы играли тут одни, и вдруг самый младший из моих товарищей спросил: почему младенец Иисус никогда не придет поиграть с нами? Я, как самый старший и умный, объяснил это тем, что Он висит на кресте, и затем мы все направились к церковным дверям посмотреть на Него. Младенца Иисуса мы на упомянутом кресте не нашли, но все-таки захотели поцеловать крест, как учили нас наши матери. Но где же нам было достать до него! И вот мы принялись подымать друг друга кверху, но силы оставляли подымающего как раз в ту минуту, когда

вытянутые губки поднятого готовы были расцеловать невидимого младенца, и ребенок шлепался. В это самое время матери моей случилось проходить мимо. Увидав нашу игру, она остановилась, сложила руки и промолвила: «Ангельчики вы Божьи! А ты — мой херувимчик!» И она крепко расцеловала меня.

Я слышал потом, как она рассказывала об этом нашей соседке и опять называла меня невинным ангелочком; мне это очень понравилось, зато невинность моя поубавилась: семя тщеславия было пригрето первыми лучами солнышка! Душа у меня от природы была мягкая, благочестивая, но, к сожалению, добрая матушка, совсем не думая о том, что это отзовется на моей детской невинности, дала мне заметить, изучить все мои действительные и воображаемые достоинства. Невинность ведь что василиск: едва увидит себя — умирает.

Монах капуцин, фра Мартино, был духовником моей матери, и она и ему рассказала, какой я благочестивый мальчик. Я, правда, отлично знал наизусть много молитв — хоть и не понимал в них ни полслова, — и монах очень любил меня за это. Он даже подарил мне картинку с изображением Мадонны, плакавшей горькими крупными слезами, которые дождем падали в пекло, где их с жадностью ловили грешники. А один раз он взял меня с собою в монастырь; особенное впечатление

произвела на меня там открытая галерея со столбами, шедшая вокруг небольшого четырехугольного картофельного огорода, на котором красовались также два кипариса и одно апельсиновое дерево. По стенам галереи висели рядами старые портреты умерших монахов, а на дверях каждой кельи были наклеены лубочные картинки, изображавшие страдания святых мучеников; я смотрел на них тогда с тем же благоговейным чувством, с каким впоследствии взирал на шедевры Рафаэля и Андреа дель Сарто.

— Ты храбрый мальчик! — сказал мне фра Мартино. — Сейчас я покажу тебе мертвых!

С этими словами он отворил маленькую дверцу, и мы спустились вниз на несколько ступенек. Там я увидел перед собою черепа, черепа!.. Они были сложены в правильные ряды и образовывали целые стены и даже отдельные часовни и ниши, в которых стояли скелеты наиболее прославившихся монахов. Они были завернуты в коричневые рясы, подпоясаны веревками, а в руках держали молитвенники или высохшие цветы. Алтари, подсвечники и разные украшения в этих часовнях были из ключиц и позвоночных хребтов, барельефы — из мелких костей, но все отличалось грубой безвкусицей, как и самая идея. Я крепко прижался к монаху, а он, сотворив молитву, сказал мне: «Вот здесь буду

когда-нибудь почитать и я; ты придешь тогда навестить меня?» Я не ответил ни слова, боязливо поглядывая то на него, то на окружавшую нас ужасную, диковинную обстановку. Нелепо было, в самом деле, приводить в такое место ребенка. Я был совсем подавлен, угнетен этим зрелищем и успокоился, только вернувшись в келейку фра Мартино; здесь в окна заглядывали чудесные желтые апельсины, а на стене висела пестрая картина: ангелы возносили Богородицу на небо, внизу же виднелась гробница ее, вся утопавшая в цветах.

Это первое посещение монастыря надолго дало пищу моей фантазии, и я до сих пор живо помню его. Монах стал казаться мне совсем иным существом, нежели все прочие люди, которых я знал. Он ведь постоянно был в общении с мертвыми, столь похожими в своих коричневых рясах на него самого, знал и рассказывал мне столько историй о святых и чудесах, матушка моя так чтילה его святость — все это заставляло меня мечтать о том, как бы и мне когда-нибудь стать таким же.

Мать моя давно овдовела и жила только тем, что шила на людей да отдавала внаймы нашу большую комнату. Прежде мы сами занимали ее, но теперь жили на чердачке, залу же, как мы называли большую комнату, снял у нас молодой художник

Федериго. Он был веселый, живой молодой человек, родом издалека, оттуда, где не знали ни Мадонны, ни Иисуса, говорила матушка, — из Дании. Я тогда еще не мог взять в толк, что есть на свете иной язык, кроме нашего, и, думая, что художник не понимает меня просто потому, что глух, принимался выкрикивать слова во все горло, а он смеялся надо мною, часто угощал меня фруктами и рисовал мне солдатиков, лошадок и домики. Мы скоро познакомились, я очень полюбил его, да и матушка говорила, что он славный человек. Но вот я услышал однажды между нею и фра Марино такой разговор, который внушил мне совсем особые чувства к молодому художнику. Мать спросила монаха, в самом ли деле иностранец обречен на вечную гибель и адские муки. «А ведь и он, и многие из иностранцев славные, честные люди и не делают ничего дурного. Все они добры к бедным, аккуратно платят за квартиру, и, сдается мне, за ними не водится таких грехов, как за многими из наших!» — прибавила она.

— Так! — ответил фра Марино. — Все это верно! Часто они бывают людьми очень почтенными, но знаете отчего? Видите ли, дьявол уже знает, что все еретики принадлежат ему и потому никогда не искушает их. Вот им и легко быть честными, не грешить. Напротив, всякий добрый католик — дитя Божие, и дьяволу

приходится пускать в ход все свои соблазны, чтобы уловить его в свои сети. Он искушает нас, слабых, и мы грешим; еретиков же, как сказано, не искушает ни дьявол, ни плоть!

На это мать моя не нашлась что ответить и только вздохнула от жалости к бедному молодому человеку. Я же начал плакать: мне казалось просто смертным грехом осудить на вечные мучения доброго молодого человека, который рисовал мне такие чудные картинки!

Третьим лицом, игравшим значительную роль в моем детстве, был дядюшка Пеппо, по прозвищу «злой Пеппо» или «король Испанской лестницы»¹; лестница эта была его постоянной резиденцией. У Пеппо от рождения были сухие и крестообразно сведенные ноги, и он с раннего детства приобрел изумительный навык передвигаться с места на место с помощью рук. Он упирался ими в дощечки, прикрепленные к ним ремнем, и двигался таким образом почти так же быстро, как люди на здоровых ногах. День-деньской, до самого заката

¹ С Испанской площади ведет к холму Пинчио и лежащим там улицам широкая каменная лестница высотой с четырехэтажные дома, стоящие возле. Лестница эта является сборным пунктом римских нищих и называется Испанскою по имени площади.

солнца, он сидел, как сказано, на Испанской лестнице, но никогда не кланчил милостыни, а только вкрадчиво улыбался и приветствовал прохожих: «Bon giorno²!» Мать моя не особенно жаловала его и даже стыдилась родства с ним, но поддерживала с ним дружбу ради меня, как часто говорила. У него было кое-что скоплено, и я мог, если сумею поладить с ним, сделаться единственным его наследником — конечно, лишь в том случае, если он не вздумает завещать все церкви! Пеппо на свой лад благоволил ко мне, но мне в его присутствии всегда было как-то не по себе. Дело в том, что мне случилось однажды быть свидетелем довольно характерного происшествия, заставившего меня бояться дядюшку Пеппо. На одной из нижних ступеней Испанской лестницы сидел старый слепой нищий и побрякивал деньгами в жестяной коробочке, приглашая этим прохожих бросить в нее и свою лепту. Многие проходили мимо Пеппо, не обращая внимания на его заискивающую улыбку и махание шляпой, но подавали слепому, который, таким образом, выигрывал своим молчанием куда больше. Уже трое прохожих поступили таким образом; прошел четвертый и тоже бросил в коробочку слепого

² Добрый день!

монетку. Тут уж Пеппо невтерпеж стало. Я видел, как он, словно змея, скользнул вниз и закатил слепому такую оплеуху, что тот уронил и деньги, и палку.

— Ах ты, мошенник! — закричал Пеппо. — Ограбить меня вздумал! Ты и калека-то ненастоящий! Не видит — вот и весь его изъян, а таскает у меня деньги из-под носу!

Дальше я не слышал — я так испугался, что со всех ног пустился домой с бутылкой вина, за которой меня посылали.

В большие праздники мне приходилось бывать с матушкой у него в гостях, причем мы всякий раз являлись с гостинцами, приносили ему то кисть крупного винограда, то засахаренных яблок, до которых он был большой охотник. Я должен был целовать ему руку и называть его дядюшкой. Он как-то странно посмеивался при этом и давал мне мелкую монетку, но всегда с наставлением спрятать ее, а не тратить на пирожное: съем я его, и у меня не останется ничего, а спрячу деньги — у меня все-таки что-нибудь да будет!

Жил он грязно, гадко; в одной каморке вовсе не было окон, а в другой всего одно, да и то под самым потолком, и с разбитым и склеенным стеклом. Мебели в каморках совсем не было, кроме большого широкого ящика, на котором Пеппо спал,

да двух бочек; в них он прятал свои платья. Я всегда шел к нему со слезами, и немудрено: матушка, постоянно увещевая меня быть с ним ласковым, в то же время и стращала меня им под сердитую руку, говоря, что отдаст меня моему милому дядюшке, вот я и буду сидеть да распевать с ним на лестнице — авось что-нибудь заработаю! Я, впрочем, знал, что она никогда этого не сделает, — я был ведь зеницей ее ока.

На стене соседнего дома висел образ Мадонны, а перед ним вечно теплилась лампада. Каждый вечер, когда начинали звонить к «Ave Maria», я и другие ребята падали ниц перед этим образом и пели молитву Богородице и прелестному младенцу, написанным на образе и украшенным лентами, бусами и серебряными сердечками. При мерцании огонька лампады мне часто казалось, что Дева Мария и младенец шевелятся и улыбаются нам. Я пел чистым, высоким дискантом, и говорили, что я пою чудесно. Однажды перед нами остановилось семейство англичан, прослушало наше пение, и, когда мы встали с земли, знатный господин дал мне серебряную монету — «за мой чудесный голос», объяснила мне матушка. Но сколько вреда мне это принесло! С тех пор я, распевая перед Мадонной, не думал уже только о ней, а о том — слушают ли, как хорошо я пою. И вдруг меня охватывали жгучие

угрызения совести и страх разгневать Мадонну, и я начинал искренно молиться и просить, чтобы Она помиловала меня, бедняжку.

Вечерняя молитва перед образом была единственным связующим звеном между мною и другими детьми. Я вел вообще тихую, сосредоточенную жизнь мечтателя, мог по целым часам один-одинешенек лежать на спине и смотреть в окно на дивное голубое итальянское небо и на удивительную игру красок при заходе солнца, когда облака принимали фиолетовые оттенки, а самый свод небесный горел золотом. Как часто хотелось мне полететь туда, туда, за Квиринал и дома, к высоким пиниям, вырисовывавшимся гигантскими тенями на пурпурном фоне неба. Совершенно иного рода зрелище открывалось из противоположного окошка нашей комнаты. Из него видны были наш и соседний дворы; оба представляли небольшие площадки, тесно сжатые высокими стенами домов и затемненные огромными, нависшими над ними деревянными галереями. Посреди каждого двора был каменный колодезь, и пространство вокруг него было до того узко, что двум встречным, пожалуй, и не разойтись было. Сверху, из своего окна, я мог, таким образом, видеть лишь эти два глубоких колодца, поросших тонкой, нежной зеленью, венеринными волосами, как ее называют. Глядя в их беспросветную глубину, я как будто

глядел, в недра самой земли, и воображение рисовало мне ряд причудливых картин. Мать, впрочем, украсила окошко большим пучком розог, чтобы я постоянно видел, какие растут на нем для меня плоды на тот случай, если я полезу туда, да не вывалюсь и не утону.

Но теперь я перейду к описанию происшествия, чуть было не положившего конец сказке моей жизни, прежде нежели она успела достигнуть более сложного развития.

Глава II. Посещение катакомб. Я поступаю в певчие. Ангелочек. Импровизатор

Жилец наш, молодой художник, брал меня иногда с собою, отправляясь бродить за город; я не мешал ему, пока он срисовывал какой-нибудь вид, когда же он кончал работу, забавлял его своею болтовней, — он уже стал понимать наш язык. Однажды я побывал с ним и в *curia hostilia*, в глубоких подземных пещерах, где в древности держали диких зверей для игрищ в цирке, во время которых безвинных пленников бросали на растерзание кровожадным гиенам и львам.

Темные переходы, глухие каменные стены, о которые проводник наш, монах, беспрестанно ударял горящим факелом, глубокие каменные

цистерны с зеркальной прозрачной водой, к которой то и дело приходилось прикасаться факелом — не то просто и не верилось, что это вода, а не пустое пространство, — все возбуждало мое воображение: страха же я не ощущал ни малейшего, так как и не подозревал ни о какой опасности.

— Мы опять пойдем в пещеры? — спросил я художника, завидев в конце улицы верхушки Колизея.

— Нет! — ответил он. — Сегодня ты увидишь еще не то! И я срисую и тебя, кстати, славный мой мальчик!

Мы шли все дальше и дальше, между двумя рядами белых стен, которыми были обнесены виноградники, и между развалинами древних терм, пока не вышли за город. Солнце жгло, и крестьяне, устроив над своими телегами беседки из зеленых ветвей, спали в них, а лошади, предоставленные самим себе, плелись шагом, пощипывая связку сена, подвешенную для этой цели у них сбоку. Наконец мы добрались до грота Эгерии, отдохнули там, закусили и выпили вина пополам со свежей водой из источника, журчавшего между каменными глыбами. Стены и своды грота и внутри и снаружи обросли нежной зеленью; все как будто было обито зеленым шелком и бархатом; над самым же входом спускался густыми гирляндами плющ, густотой и

свежестью листьев не уступавший калабрийскому винограду. В нескольких шагах от грота стоит — вернее, стоял, так как теперь от него остались одни развалины — маленький нежилой домик, построенный над одним из спусков в катакомбы. В древности они, как известно, служили для соединения Рима с окрестными городами, но затем часть ходов была завалена обрушившимися стенами, а часть заложена, так как катакомбы стали служить убежищем для воров и контрабандистов. Спуск через могильные склепы церкви святого Себастиана и только что упомянутый и были тогда единственными открытыми для публики. Мы, впрочем, пожалуй, последние, спускались через второй — вскоре после происшествия с нами его заложили, и остался открытым для иностранцев только один вход через упомянутую церковь, да и через тот их стали пускать лишь в сопровождении монаха.

Глубоко под землей пересекаются ходы, прорытые в мягкой земле; здесь их такое множество и все они так похожи один на другой, что в них может заблудиться даже тот, кто отлично знаком с направлениями главных ходов. Я-то, впрочем, ни о чем таком не думал, а художник принял такие меры предосторожности, что даже не задумался прихватить с собою и меня. Он зажег одну свечу, другую взял в карман, прикрепил у

входа клубок ниток, и наше странствие началось. Своды то становились так низки, что даже я едва мог держаться прямо, то опять уходили ввысь высокими арками, расширявшимися в местах пересечения ходов в четырехугольники. Мы миновали круглую пещеру с маленьким алтарем посередине; здесь тайно отправляли богослужения первые христиане, преследуемые язычниками. Федерико рассказывал мне о погребенных здесь четырнадцати папах и многих тысячах мучеников. Мы подносили свечу к большим трещинам в могильных нишах и видели там пожелтевшие кости. Пройдя еще несколько шагов, Федерико приостановился: нитка кончалась. Он крепко привязал конец ее к петлице своей куртки, воткнул свечу между камнями и принялся срисовывать мрачные своды. Я сидел возле, на камне; художник велел мне сложить руки и глядеть вверх. Свеча наполовину уже сгорела, но рядом лежала еще одна целая; кроме того, Федерико взял с собою огниво и трут, чтобы можно было вновь зажечь свечу, если она внезапно погаснет.

Фантазия рисовала мне тысячи диковинных предметов в этих бесконечных переходах, погружавшихся вдали в сплошной мрак. Тихо было кругом; слышался только однообразный звук падения водяных капель. Я совсем забылся, предавшись своим мечтам, как вдруг испугался,

взглянув на моего друга-живописца. Он как-то странно вздохнул и стал вертеться на месте, ежеминутно наклоняясь к земле, словно хватая что-то, потом зажег большую свечу и опять принялся искать около себя. Меня охватил испуг, и я с плачем поднялся с места.

— Ради Бога, сиди смирно, дитя! — сказал он. — Ради самого Бога! — И он опять впился глазами в землю.

— Я хочу наверх! — закричал я. — Я не хочу оставаться тут! — И я схватил его за руку и потянул за собою.

— Дитя, дитя! Ты милый, славный мальчик! Я дам тебе пирожного и картинок! А вот тебе пока денег! — И он вытащил из кармана свой кошелек и отдал мне все, что в нем было, но я чувствовал, что рука его холодна как лед, что сам он весь дрожит, и я испугался еще больше и начал громко призывать матушку. Тогда он сердито схватил меня за плечо, сильно тряхнул и сказал: — Смирно, или я прибью тебя! — Затем он крепко обвязал мою руку своим носовым платком, чтобы я не вырвался от него, но тут же наклонился ко мне и крепко поцеловал, называя меня «своим милым, дорогим Антонио» и прося меня молиться Мадонне!

— Разве нитка потерялась? — спросил я.

— Мы найдем ее, найдем! — ответил он и опять принялся искать. Между тем огарок первой

свечи догорел, и по мере того, как от сильных движений Федериги быстро оплывала и догорала в его руке другая, страх его все возрастал. В самом деле, без нитки нам невозможно было выбраться из катакомб; каждый шаг мог только удалить нас от выхода и завести вглубь, откуда уже никто не мог бы спасти нас.

После тщетных поисков Федериги бросился ниц на землю, обнял меня за шею и вздохнул:

— Бедное дитя!

Я громко заплакал, чувствуя, что уже никогда не попаду домой. Лежа на земле, он крепко прижал меня к себе, рука моя скользнула под него, я уперся пальцами в щелевидную дырку и вдруг нащупал нитку.

— Вот она! — закричал я.

Он схватил мою руку и точно обезумел от радости: ведь и впрямь жизнь наша висела на этой ниточке! Мы были спасены.

О, как тепло светило солнышко, какой лазурью сияло небо, как хороши были зеленые деревья и кусты! Мы не могли наглядеться на все это, выйдя опять на свет Божий. Федериги снова расцеловал меня, потом вынул из кармана свои красивые серебряные часы и сказал мне:

— Вот тебе!

Я так обрадовался, что совсем позабыл недавнее приключение, но мать моя никак не могла забыть его и больше уж не позволяла художнику

братъ меня с собою на прогулки. Фра Мартино сказал, что Господь спас нас единственно ради меня, что это мне послала Мадонна нитку, а не еретику Федерико, что я добрый, благочестивый мальчик и никогда не должен забывать ее доброты и милости ко мне. Это приключение, а также насмешливые уверения некоторых знакомых, что я уродился монахом, так как, кроме матушки, мне вообще не была по сердцу ни одна женщина, убедили мою мать, что я предназначен в служители церкви. И впрямь, сам не знаю почему, я недолюбливал женщин; в них было, на мой взгляд, что-то отталкивающее. Я пренаивно высказывал это, и за то все девушки и женщины, приходившие к моей матери, безжалостно дразнили меня, настаивая, чтобы я непременно поцеловал их. В особенности донимала меня своими насмешками и часто доводила даже до слез Мариучия, веселая, жизнерадостная крестьянская девушка. Она была натурщица по ремеслу и поэтому одевалась всегда очень красиво и пестро, на голове же носила большое белое покрывало. Она часто служила моделью Федерико, заходила и к матери моей, и при этом всегда называла себя моею невестой, а меня своим женихом, который непременно должен поцеловать ее. Я всегда отказывался, но она заставляла меня силой. Однажды я не выдержал и разревелся; тогда она назвала меня грудным

младенцем и сказала, что меня надо покормить. Я бросился к дверям, но она поймала меня, посадила к себе на колени и прижала мое лицо к своей груди. Я отворачивался что было сил, а она все крепче и крепче прижимала меня. В борьбе я вырвал из косы девушки серебряную стрелу, и волосы ее пышной волной рассыпались по ее обнаженным плечам и закрыли меня. Матушка стояла в другом углу комнаты, смеялась и подзадоривала Мариучию, а Федерико в дверях незаметно срисовывал всю группу.

— Не надо мне невесты, не надо жены! — говорил я матери. — Я хочу быть священником или капуцином, как фра Мартино!

Молчаливость и сосредоточенность моя, особенно по вечерам, также указывали моей матери на мое предназначение в духовное звание. А я сидел да мечтал о том, какие дворцы и церкви построю, когда вырасту и разбогатею, как буду тогда разъезжать кардиналом в красных каретах в сопровождении раззолоченных слуг. Иногда же я рисовал себе целую мученическую эпопею, похожую на те, которые рассказывал мне фра Мартино; героем ее являлся, конечно, я сам и по воле Мадонны никогда не испытывал причиняемых мне мук. В особенности же увлекала меня мечта отправиться на родину Федерико, чтобы обратиться там всех его соотечественников и сделать их

сопричастными общему спасению.

Как матушка и фра Мартино устроили это — я не знаю, но только в одно прекрасное утро она нарядила меня в лиловый стихарь, сверх него накинула кисейную рубашку, доходившую мне до колен, и затем подвела меня к зеркалу посмотретья. Я был принят в певчие церкви капуцинов, должен был кадить из большой кадилницы и петь перед алтарем. Фра Мартино дал мне все нужные указания. О, как я был счастлив! Скоро я совсем освоился с новой обстановкой и чувствовал себя в маленькой, но уютной монастырской церкви совсем как дома, знал на память каждую ангельскую головку, изображенную на образах, каждую пеструю завитушку на колоннах и мог, зажмуря глаза, представить себе прекрасного архангела Михаила, попирающего безобразного дракона. А сколько самых причудливых мыслей возбуждали во мне высеченные на каменном полу черепа в венках из зеленого плюща!

В праздник Всех Святых монахи взяли меня с собою в капеллу мертвых, куда водил меня фра Мартино в первое же мое посещение монастыря. Монахи пели заупокойную обедню, а я с двумя мальчиками-однолетками кадил перед большим алтарем, составленным из черепов. В паникадила, сделанные из человеческих костей, вставили свечи,

скелетам монахов дали в руки новые букеты, а на черепа им надели свежие венки. Народу, по обыкновению, набралось туда множество, все встали на колени, торжественно зазвучало «Miserere...». Долго глядел я на пожелтевшие черепа и кадильный дым, стелившийся причудливыми клубами между ними и мною, и, наконец, все закружилось передо мной, взор мой застлало какое-то радужное сияние, в ушах зазвенели тысячи колокольчиков, мне показалось, что я плыву, уношусь по течению, невыразимо сладкое чувство охватило меня... Больше я ничего не помню: сознание оставило меня.

Тяжелый, спертый воздух и чересчур разгоряченное воображение были причинами моего обморока. Придя в себя, я увидел, что лежу на коленях у фра Мартино под тенью апельсинового дерева, росшего в монастырском саду.

Сбивчивый рассказ мой о том, что мне сейчас чудилось в грезах, был истолкован им и всей братией по-своему: я удостоился небесного видения и не в силах был вынести зрелища блаженных духов, воспаривших надо мною в блеске и великолепии.

Такое отношение ко мне повело к тому, что я часто стал видеть чудесные сны, некоторые даже сочинять сам, рассказывал их матери, а та передавала своим друзьям, и за мной с каждым

днем все больше и больше устанавливалась репутация избранного Богом дитяти.

Незаметно приблизилось и желанное Рождество. Горные пастухи, в коротких плащах и остроконечных, украшенных лентами шляпах, стали стекаться в город и возвещать звуками волынки о рождении Спасителя перед всеми домами, на дверях которых находились изображения Мадонны. Я ежедневно просыпался под одну и ту же монотонную заунывную мелодию и сейчас принимался повторять свою речь. Дело в том, что я в числе других избранных детей — мальчиков и девочек — должен был на Рождестве произнести проповедь перед образом Иисуса в церкви святой Марии Арачели.

И не только я сам да матушка с Мариучией радовались тому, что я, девятилетний мальчуган, должен был держать речь, но также и художник Федерико, перед которым я без их ведома делал репетицию, стоя на столе. На такой же стол, только покрытый ковром, поставили нас, детей, и в церкви, где мы должны были перед всей паствой держать заученную наизусть речь «об обливавшемся кровью сердце Мадонны и о красоте младенца Иисуса». Я совсем не трусил, сердечко мое билось только от радости, когда я очутился на возвышении и взоры всех устремились на меня. Казалось, что наибольшее впечатление на слушателей произвел

именно я, но вот на стол поставили изящную, нежную маленькую девочку, с таким светлым личиком и мелодичным голоском, что все единогласно назвали ее ангелочком. Даже матушка, которая охотно отдала бы пальму первенства мне, громко заявила, что девочка ни дать ни взять ангелочек с большого запрестольного образа — такие у нее дивные черные глазки, черные как смоль волосы, детское и в то же время необыкновенно умное выражение личика, прелестные маленькие ручки!.. Нет, право, матушка уж чересчур много занималась ею! Она, впрочем, сказала, что и я тоже был похож на ангелочка.

Есть песня про соловья, который, сидя птенчиком в гнезде, клевал зеленый листок розового куста и не замечал бутона, готового распуститься, спустя же несколько недель, когда роза расцвела, пел только о ней, полетел прямо на шипы и истек кровью. Песня эта часто приходила мне на ум впоследствии, когда я стал постарше; тогда же она еще ничего не говорила ни моему детскому слуху, ни сердцу.

Дома я должен был повторять мою речь перед матушкой, Мариучией и другими матушкиными приятельницами, и не один, а много раз. Это немало льстило моему самолюбию, но они скорее устали слушать меня, чем я повторять. Чтобы вновь заинтересовать мою публику, я додумался сам

составить новую речь, и, хотя она явилась скорее описанием церковного торжества, нежели настоящей рождественской проповедью, Федерико, который первый услышал ее, сказал, что она ничуть не хуже сочиненной фра Мартино и что во мне «сидит поэт». Говоря это, он смеялся, но я тем не менее был польщен. Слово «поэт» заставило меня, однако, сильно призадуматься — я не понимал хорошенько, что оно значит, и наконец порешил, что это «сидит во мне добрый ангел», может быть, тот самый, который показывает мне такие прелести во сне. И только летом один случай несколько лучше объяснил мне значение поэта и пробудил в моей детской душе новые идеи.

Матушка редко переступала пределы нашего квартала, поэтому для меня было настоящим праздником услышать от нее, что мы отправимся с нею к одной из ее приятельниц, жившей в Трастевере³. Меня нарядили в праздничное платье: к груди прикрепили булавками пестрый шелковый лоскуток, заменявший мне жилетку, сверху накинули коротенькую курточку, шейный платок завязали большим бантом, а на голову надели вышитую шапочку. Я был просто обворожителен!

Возвращались мы назад домой уже поздно, но

³ Часть Рима, расположенная на правом берегу Тибра.

лунный вечер был так ясен и светел, воздух так свеж; высокие кипарисы и пинии, росшие на ближайших холмах, резко вырисовывались на голубом фоне неба. Это был один из тех вечеров, каких немного приходится пережить каждому; они не знаменуются никакими особенными событиями, но тем не менее глубоко запечатлеваются со всеми своими оттенками на крыльях Психеи — души. Вспоминая впоследствии Тибр, я всегда вижу его перед собою таким именно, каким видел в тот вечер, вижу эту густую желтоватую воду, в которой отражался месяц, вижу черные старые быки ветхого моста, резкими тенями выступавшие из потока, вижу пенившие поток мельничные колеса и веселых девушек, отплясывавших с тамбуринами в руках сальтарелло⁴. На улицах вокруг Санта-Мария делла Ротонда движение и жизнь еще не прекращались. Мясники и торговки фруктами сидели за своими столами, на которых между гирляндами из лавровых листьев были разложены их товары и горели на вольном воздухе свечи. Под горшками, в которых жарились каштаны, пылал огонь; говор, крики, шум и гам стояли в воздухе; чужестранец, не понимающий языка, мог бы подумать, что тут идут ссоры не на жизнь, а на

⁴ Римский народный танец.

смерть. Матушка встретила здесь свою старую приятельницу, торговку рыбой, и женщина задержала нас своими разговорами до поздней ночи. Начали уже тушить свечи, прежде чем мы двинулись дальше; когда же матушка проводила приятельницу до дому — на улицах, даже на Корсо, стояла уже полная тишина, но как только мы обогнули площадь ди Треви, где находится великолепный каскад, навстречу нам опять понеслись веселые звуки.

Лунный свет озарял старое палаццо; между каменными глыбами, образующими его фундамент и будто наваленными как попало, журчала вода. Тяжелый каменный плащ Нептуна развевался по ветру, а сам Нептун глядел на каскад и на окружавших его тритонов, правивших морскими конями. Струи воды ниспадали в широкий бассейн, а на ступенях вокруг бассейна расположилась освещенная лунным светом толпа поселян. Возле них валялись большие разрезанные дыни, из которых так и бежал сок. Маленький коренастый парень, в одной рубашке да коротких холщовых панталонах, сидел с гитарой в руках и, весело перебирая струны, распевал песню. Крестьяне восторженно хлопали ему. Матушка приостановилась, и я услышал песню, которая сильно поразила меня. Она была совсем не похожа на обыкновенные — парень пел в ней о нас самих, о

том, что мы видели и слышали сейчас вокруг себя! Мы сами были выведены в песне, в настоящей песне! Он пел о том, как прекрасно спится под голубым небом вместо полога и с камнем под головой вместо подушки, под звуки волынки этих двух горных пастухов (тут он указал на тритонов, трубящих в рога), о том, что все эти поселяне, проливающие сок дынь, должны выпить за здоровье его возлюбленной, которая теперь спит себе и видит во сне купол святого Петра и дружка, разгуливающего в папском городе. «Да, выпьем за ее здоровье и за здоровье всех девушек, стрелы которых держат еще неразжатые руки⁵! — сказал он, щипнул матушку в бок и прибавил: — А кстати, уж и за твое здоровье, матушка, да за здоровье будущей возлюбленной твоего сынка, которую он сыщет себе прежде, чем у него пробьется первый пушок на губе!»

— Bravo! bravo! — вскричала матушка, и все крестьяне захлопали и закричали: «Bravo! Bravo, Джиакомо!»

На крыльце маленькой церкви, лежавшей направо, мы заметили знакомое лицо. Это был Федерико; он стоял и набрасывал карандашом на

⁵ Поселянки носят в волосах стрелы, которые у девушек держат сжатые руки, а у замужних разжатые.

бумагу всю эту веселую группу, облитую лунным светом. По дороге домой он и матушка весело разговаривали о славном импровизаторе — так назвали они крестьянина, распевавшего такие забавные песни.

— Антонио! — сказал мне Федерико, — что ж ты не ответил ему импровизацией? Ты ведь у нас тоже маленький поэт! Тебе надо учиться излагать свои речи стихами!

Теперь я понял, что такое поэт: это тот, кто умеет красиво воспевать все, что чувствует и видит. Вот-то весело, да и нетрудно! Будь только у меня гитара!

Первым предметом, который я воспел, была ни более ни менее как мелочная лавочка, находившаяся напротив нашего дома. Фантазия моя давно уже воспламенялась причудливым разнообразием ее товаров, которое привлекало даже внимание иностранцев. Между красивыми гирляндами из лавровых листьев висели, словно большие страусовые яйца, белые буйволодые сыры; свечи, обвитые золотой бумагой, представляли ни дать ни взять трубы органа, а колбасы — колонны, на которых покоился золотисто-янтарный круг пармезана. Вечером, когда все это освещалось красным пламенем лампы, висевшей перед образом Мадонны, что помещался на стене между колбасами и окороками, мне казалось, что передо

мною открывался какой-то волшебный мир. Кошка, сидящая на прилавке, и молодой капуцин, который всегда так долго торговался с синьорой, тоже не были забыты в моей поэме, которую я столько раз протвердил в уме, что легко мог продекламировать Федерико. Она заслужила его одобрение, скоро разнеслась по всему дому и дошла и до самой синьоры лавочницы. Та много смеялась над моей поэмой, называя ее дивным творением, вторую «Божественною комедией».

Теперь-то я принялся воспевать все! Я постоянно жил в царстве фантазии, мечтал и в церкви, под пение монахов, и на улицах, под крик разносчиков и шум экипажей, и в своей кровати, над изголовьем которой висели образ Мадонны и кропильница. Зимой я мог часами сидеть в сумерках за воротами дома и, не отрываясь, глядеть на большой, разведенный среди улицы огонь, вокруг которого толпились кузнецы и простые крестьяне: первые калили железо, вторые просто грелись. В этом красном огне открывался мне целый мир, пламенный, как и моя собственная фантазия. А как ликовал я, когда зимою нагорный снег нагонял к нам такую стужу, что каменные тритоны на площади покрывались ледяными сосульками! Жаль только, что это случалось так редко! Радовались этому и крестьяне — это ведь предвещало урожайный год, — брались за руки и

плясали в своих больших тулупах вокруг бассейна, любясь радугой, игравшей в высоких водяных струях.

Но я слишком долго останавливаюсь на отдельных воспоминаниях детства, которые для посторонних, конечно, не могут представлять того значения и живого интереса, какие представляют для меня: я, перебирая их в уме, точно снова переживаю всю мою жизнь с самого раннего детства.

Ребенком жил я в
чудном мире грез,
По морю звуков
сладких я носился...

Теперь я перейду к событию, которое, отделив меня терновой оградой от моего домашнего рая, бросило меня в среду чужих людей и изменило все мое будущее.

Глава III. Праздник цветов в дженцано

Настал июнь месяц; приближался день знаменитого праздника цветов, ежегодно

справляемого в Дженцано ^б. У матери моей и Мариучии была там общая приятельница, державшая вместе с мужем своим постоянный двор и трактирчик, и они уже несколько лет собирались побывать на этом празднике, но всегда что-нибудь мешало; на этот же раз поездка должна была, наконец, состояться. Отправиться из дому приходилось за день до праздника — путь предстоял не близкий; от радости я не спал всю ночь накануне.

Веттурино приехал за нами еще до восхода солнца, и мы покатили. До сих пор мне не случалось бывать в горах, и я был просто вне себя и от радости, и от ожидания — столько я наслышался чудесного об этом празднике. Мог бы я взрослым смотреть на жизнь и природу теми же глазами, как тогда, да высказать свои чувства словами — вышло бы бессмертное поэтическое произведение! Тишина на улицах, железные городские ворота, широко раскинувшаяся долина Кампаньи с разбросанными по ней одинокими могилами, густой утренний туман, окутывавший подножия отдаленных гор, — все казалось мне таинственным прологом к

^б Маленький городок в Альбанских горах, лежащий у самой проезжей дороги, что соединяет Рим с Понтийскими болотами.

ожидавшему меня великолепному зрелищу. Даже воздвигнутые по краям дороги деревянные кресты с привязанными к ним белыми костями разбойников, напоминавшие о погребенных здесь невинных жертвах и казни убийц, и те занимали меня. Сначала я попробовал было сосчитать бесчисленные каменные трубы водопроводов, снабжавших Рим водой, но скоро устал и принялся осаждать старших тысячами вопросов о больших огнях, разведенных пастухами возле обрушившихся могильных памятников, и о больших овечьих стадах, скученных на небольших пространствах, огороженных рыбачьими сетями.

Остаток пути от Альбано нам предстояло сделать пешком, по кратчайшей и живописной дороге через Арричия. Всюду росли дикая резеда и левкои; густые, сочные оливковые деревья давали чудесную тень; вдали виднелось море, а по горному склону возле дороги, где воздвигнут был крест, вприпрыжку обгоняли нас веселые хохочущие девушки, не забывавшие, однако, по пути набожно приложиться к кресту. Высившийся вдали купол собора в Арричия я принял за купол святого Петра, подвешенный ангелами к голубому небу между темными оливковыми деревьями. На одной из улиц целая толпа окружила медведя, плясавшего на задних лапах под звуки заунывной мелодии, которую наигрывал на волынке его вожатый; эту же

самую мелодию играл последний, являясь к нам из гор перед наступлением Рождества, и перед образом Мадонны! Славная обезьянка в мундире, «капрал» — как величал ее вожатый, — кувыркалась у медведя на голове и на спине. Мне так хотелось остаться тут, вместо того чтобы тащиться в Дженцано! И праздник-то ведь должен был начаться только завтра! Но мать торопилась добраться до места, чтобы помочь своей приятельнице плести венки и ковры из цветов.

Скоро мы подошли к дому Анджелины. Он стоял на окраине Дженцано, обращенной к озеру Неми. Домик был очень красив; из-под фундамента его бежал в каменный бассейн источник прозрачной воды, возле которого теснились ослы.

Мы вошли в самый трактир; там стоял шум и гам, на очаге шипело и варилось кушанье. Целая толпа крестьян и горожан сидела за длинным деревянным столом, попивая винцо и поедая ветчину. Перед образом Мадонны стоял в кружке букет прекраснейших роз и горела лампадка; огонь ее едва мерцал сквозь кухонный чад. Кошка бегала по сырам, разложенным на полках, а по полу разгуливали куры, то и дело попадаясь кому-нибудь под ноги; мы с матушкой чуть не упали через них. Анджелина приняла нас очень радушно, проводила по крутой лесенке в верхнюю каморку и угостила королевским, по моим понятиям, обедом. Все было

здесь превосходно; даже бутылка с вином и та была украшена: вместо пробки в горлышке ее красовалась роза. Все три приятельницы расцеловались; на мою долю также пришлось поцелуй, я волею-неволею должен был примириться с этим. Анджелина сказала, что я прехорошенький мальчик, и матушка, трепля одною рукой меня по щеке, другою принялась прихорашивать меня — то обдергивала рукава курточки, из которой я уже вырос, то натягивала ее повыше на плечи и грудь.

Сейчас же после обеда для нас уже начался праздник: мы должны были принять участие в сборе цветов и зелени для венков. Через низенькую дверь мы вышли в сад, скорее в беседку, всего в несколько шагов в длину и в ширину. Плохонький забор поддерживался широкими твердыми листьями дикого алоэ, которое образовывало здесь естественную изгородь. Гладкое, как зеркало, озеро неподвижно покоилось в глубокой и широкой котловине вулкана, из которого когда-то бил к облакам огненный фонтан. Пробираясь между густыми платанами, ветви которых были опутаны ползучими растениями, мы стали спускаться по уступам горы, напомиравшим ступени амфитеатра. По ту сторону озера лежал, глядясь в его голубое зеркало, город Неми. По дороге мы рвали цветы и плели венки из темных ветвей олив, свежих

виноградных листьев и диких левкоев.

Синеющее в глубине котловины озеро и ясное голубое небо над нами то скрывались от нас за густыми ветвями деревьев и побегамии виноградных лоз, то опять проглядывали, сливаясь в одну безграничную синеву. Все было для меня ново и восхищало меня; душа моя была исполнена тихого блаженства. И теперь еще бывают минуты, когда воспоминание воскрешает в моей душе все эти чувства; они выступают тогда вновь, такие же свежие, блестящие, как мозаичные обломки, извлекаемые из погребенного под лавою города.

Солнце жгло, и, только спустившись к самому озеру, где старые платаны, росшие прямо из воды, купали в ее струях свои оплетенные диким виноградом ветви, нашли мы прохладу и могли продолжать нашу работу. Красивые водяные растения лениво кивали головками, словно предаваясь под этой густой тенью сладкой дремоте. Скоро солнечные лучи перестали уже освещать озеро, а только золотили еще крыши домов в Неми и в Дженцано. Темнота разливалась все шире и шире и скоро совсем окружила нас. Я отошел от остальных, но всего на несколько шагов, так как матушка боялась, что я упаду в глубокое озеро с этого крутого обрыва. Возле развалин древнего храма Дианы лежало срубленное фиговое дерево, плотно обвитое и точно прикрепленное к земле

плющом. Я взлез на него и тоже принялся плести венок, напевая отрывок из одной песенки:

... Ah rossi, rossi fiori
Un mazzo di violi
Un gelsomin
d'amore...

как вдруг меня прервал странный шипящий голос:

... Per dar al mio
bene!

Перед нами неожиданно очутилась высокая старуха, удивительно прямая и стройная, одетая в обычный костюм крестьянок из Фраскати. Длинное белое покрывало, спускавшееся с головы на плечи, еще резче оттеняло своей белизной ее бронзовое лицо и шею. Все лицо было покрыто сетью мелких морщин; в огромных черных глазах почти не видно было белков. Прошипев эти слова, она засмеялась и уставилась на меня серьезным и неподвижным, словно у мумии, взглядом.

— Цветы розмарина, — сказала она, — станут еще прекраснее в твоих руках! Во взоре твоём горит звезда счастья!

Я удивленно глядел на нее, прижимая к губам

венок, который плел.

— В прекрасных лавровишневых листьях скрывается яд! Плети из них венок, но не вкушай их!

— А, да это мудрая Фульвия из Фраскати. — сказала Анджелина, вышедшая из кустов. — И ты тоже плетешь венки к празднику или, — прибавила она, понижая голос, — вяжешь при закате солнца другого рода букеты?

— Умный взгляд! — продолжала Фульвия, не сводя с меня глаз. — Когда он родился, солнце проходило под созвездием Быка, а на рогах Быка — золото и почести!

— Да! — сказала матушка, подошедшая вместе с Мариучией. — Когда он наденет черный плащ и широкополую шляпу, выяснится — будет ли он кадить Господу или пойдет по тернистому пути!

Сивилла, казалось, поняла, что матушка говорила о моем предназначении в духовное звание, но в ответе ее скрывался совсем иной смысл, нежели тот, который могли тогда придать ему мы.

— Широкополая шляпа не накроет его головы! Он предстанет перед народом, и речь его зазвучит музыкой, громче пения монахинь за монастырской решеткой, сильнее раскатов грома в Альбанских горах! Колесница счастья выше горы

Каво, где покоятся между стадами овец облака небесные!

— О Господи! — вздохнула матушка, как-то недоверчиво покачивая головой, хотя ей и приятно было слышать такое блестящее предсказание. — Он бедный мальчуган; одна Мадонна знает, что будет с ним! Колесница счастья выше телеги альбанского крестьянина; колеса вертятся беспрерывно, где ж бедному мальчику взобраться на нее!

— А ты видела, как вертятся большие колеса крестьянской телеги? Нижняя спица подымается наверх и опять опускается вниз, крестьянин ставит на нее ногу, колесо повертывается и подымает его; но бывает также, что колесо наезжает на камень, и тогда смельчак летит кувырком!

— А нельзя ли и мне тоже взобраться на колесницу счастья? — спросила матушка, посмеиваясь, но вдруг вскрикнула от испуга. Огромная хищная птица стрелой ударила в волны озера и обдала нас всех брызгами. С заоблачной вышины завидела она своим острым взглядом большую рыбу, неподвижно лежавшую, словно камыш, чуть не на самой поверхности воды, с быстротою молнии бросилась на добычу, вцепилась острыми когтями в спину ее и хотела было снова подняться в вышину. Но рыба, как мы могли заключить из сильного волнения, поднявшегося на озере, была необыкновенной величины, а силой не

уступала своему врагу и, в свою очередь, потащила птицу за собою в глубину. Птица так глубоко запустила когти в спину рыбы, что не могла уже вытащить их, и вот началась борьба. По тихому до сих пор озеру заходили большие волны, в которых мелькали то блестящая спина рыбы, то широкие, бороздившие воду крылья, по-видимому ослабевавшей, птицы. Борьба продолжалась уже несколько минут; вот крылья птицы распростерлись на поверхности озера, словно для отдыха, потом она вдруг взмахнула ими, послышался хруст, одно крыло погрузилось в воду, а другое все еще продолжало вспенивать ее, затем исчезло и оно. Рыба увлекла птицу на дно, где они скоро и должны были погибнуть обе.

Молча глядели мы все на эту сцену. Когда же матушка обернулась к нам, сивиллы уже не было. Как это, так и только что случившееся происшествие, которое, как увидит читатель, повлияло много лет спустя на всю мою судьбу и потому вдвое сильнее запечатлелось в моей памяти, заставило нас всех поспешно и молчаливо направиться к дому. Мрак густой волной лился из листвы деревьев; пурпурные облака отражались в зеркальном озере; мельничные колеса монотонно шумели; все вокруг носило отпечаток чего-то таинственного. Во время пути Анджелина шепотом рассказывала нам разные чудеса про Фульвию,

умевшую варить всякие ядовитые и любовные зелья. Между прочим, услышали мы и о бедной Терезе из Олевано, изнывавшей от тоски по молодцу Джузеппе, который ушел туда, за горы, на север. Старуха бросила в медный котел разных кореньев и поставила его на горячие уголья. Коренья кипели, пока Джузеппе не взяла тоска и он без оглядки, без отдыха не заторопился домой, где варились чудодейственные коренья вместе с локонами волос его и Терезы. Я потихоньку стал творить «Ave Maria» и не успокоился, пока мы не очутились снова дома у Анджелины.

Все четыре фитиля в медной лампе были зажжены, а самая лампа украшена венком; на ужин нам подали блюдо из помидоров и бутылку вина. Внизу в общей горнице крестьяне пили и импровизировали; двое из них пели что-то вроде дуэта, а остальные подхватывали хором, но, когда я запел вместе с другими детьми молитву перед образом Мадонны, висевшим возле очага, где пылал огонь, все умолкли, стали прислушиваться и хвалить мой прекрасный голос, так что я забыл и мрачный лес, и старуху Фульвию. Я бы с удовольствием пустился и импровизировать взапуски с крестьянами, но матушка охладила мой пыл вопросом — неужели, по-моему, пристойно церковному певчому и, может быть, будущему проповеднику слова Божия строить из себя шута?

Теперь еще ведь не карнавал, и она не позволит мне дурачиться, строго добавила она, но, когда мы вечером пришли в нашу спальню и я улегся на широкую постель, она любовно прижала меня к своему сердцу, называя своим утешением и радостью. Подушка моя оказалась слишком низка, и добрая матушка позволила мне прилечь на ее руку. Я спокойно спал до тех пор, пока солнышко не заглянуло к нам в окна и матушка не разбудила меня, — настал чудный день праздника цветов!

Как мне передать первое впечатление, произведенное на меня пестрым убранством улицы? Вся улица, слегка подымавшаяся в гору, была сплошь усыпана цветами. Фоном служили голубые цветы, — казалось, обобрали все поля, все сады, чтобы нарвать такую массу цветов одного оттенка — по голубому же фону шли на некотором расстоянии друг от друга продольные полосы из больших зеленых листьев и роз, а в промежутках между ними были насыпаны темно-красные цветы; они же окаймляли как бы бордюром и весь этот цветочный ковер. В середине его красовались звезды и солнце из ярко-желтых цветов и разные инициалы, над которыми пришлось особенно потрудиться, пригоняя цветок к цветку, листок к листку. Вся мостовая представляла, таким образом, сплошной цветочный ковер, мозаичный пол, пестрее и богаче красками, нежели помпейские

мозаики. Не было ни малейшего ветерка, и цветы прилегали к земле так плотно, словно тяжелые драгоценные камни. Изо всех окон спускались по стенам домов большие цветочные ковры, на которых были изображены разные события из священной истории. Тут спасалось в Египет Святое Семейство (лица, руки и ноги Иосифа, Марии и Иисуса были из роз, развевающиеся одежды Мадонны из левкоев и голубых анемонов, а сияние вокруг их голов из белых кувшинок с озера Неми), там боролся с драконом святой Михаил, здесь сыпала розы на темно-голубой земной шар святая Розалия; всюду, куда ни поглядишь, библейские лица и события. И у всех зрителей на лицах написана такая же радость, что и у меня! На балконах стояли разодетые богатые иностранцы, явившиеся с той стороны гор, а вдоль тротуаров двигались толпы людей в национальных костюмах. Матушка отыскала себе местечко возле каменного бассейна, а я взобрался на голову сатира, выглядывавшего из воды.

Солнце палило, колокола звонили, и вот по цветочному коврику двинулось торжественное шествие; прекрасная музыка и пение возвестили нам о его приближении. Впереди шли мальчишки-певчие и кадили перед ковчегом со святыми дарами, затем следовали с венками в руках красивейшие девушки из окрестностей, а бедные

дети с крылышками за голенькими плечами ожидали шествие у большого алтаря, воспевая ангельское славословие. Молодые парни украсили свои остроконечные шляпы, на которых были прикреплены образки Мадонны, развевающимися лентами; на шеях у них были надеты цепи из серебряных или золотых колец, а концы пестрых шарфов красиво ниспадали на бархатные куртки. Девушки из Альбано и Фраскати щеголяли тонкими белыми покрывалами, брошенными на их черные косы, заткнутые серебряными стрелами; у девушек же из Веллетри на головах красовались венки, а шейные платочки были прикреплены к кофточкам так, что открывали круглые плечи и пышную грудь; уроженки Аbruццких гор и Понтийских болот тоже были в своих национальных костюмах; получалась удивительно пестрая картина. Кардинал в серебряной ризе выступал под украшенным цветами балдахином; за ним шли монахи различных орденов с зажженными восковыми свечами в руках. Когда шествие вышло из церкви, толпа хлынула за ними. Мы с матушкой были увлечены общим потоком; она крепко держала меня за плечи, чтобы меня не оттерли от нее. Я двигался вперед, сжатый со всех сторон толпой, и видел только кусочек голубого неба над головой. Вдруг в толпе раздались крики ужаса, началась давка: прямо на народ неслась пара взбесившихся

лошадей... Больше я уж ничего не слышал, — меня сбили с ног, в глазах у меня потемнело, в ушах зашумело, точно надо мной несся водопад...

О, Матерь Божия, какое горе! Я и теперь еще вздрагиваю, припоминая, что случилось тогда. Когда я пришел в себя, голова моя покоилась на коленях у Мариучии, которая плакала и вопила, а рядом лежала на земле моя мать, тесно окруженная толпой посторонних людей. Бешеные лошади опрокинули нас, экипаж переехал через грудь моей матери, изо рта ее хлынула кровь, и — она скончалась.

Я видел, как ей закрыли глаза и сложили безжизненные руки, так еще недавно ласкавшие и защищавшие меня! Монахи перенесли ее в монастырь, а меня, так как я отделался одной ссадиной на руке, Мариучия взяла с собою обратно в трактир, где вчера я так веселился, плел венки и спал в объятиях матушки! Я был очень огорчен, хотя и не сознавал еще как следует своего сиротства. Мне дали игрушек, фруктов и пирожного и пообещали, что завтра я опять увижу матушку, которая теперь у Мадонны, где вечно справляют чудный праздник цветов и веселятся. Но и остальные речи не ускользнули от моего слуха. Я слышал, как все шептались о вчерашней хищной птице, о Фульвии и о каком-то сне, виденном матушкой; теперь, когда она умерла, оказывалось,

что все предвидели несчастье.

Взбесившиеся лошади были между тем остановлены сейчас же за городом, где они зацепились за дерево. Из кареты высадили полумертвого от страха господина лет сорока с небольшим; говорили, что он из фамилии Боргезе, владеет виллой между Альбано и Фраскати и известен своей страстью собирать разные растения и цветы; шептались даже, что он не уступит в тайных познаниях самой Фульвии. Слуга в богатой ливрее принес от него сироте кошелек с двадцатью скудо.

На другой день, вечером, прежде чем зазвонили к «Ave Maria», меня отвели в монастырь проститься с матушкой. Она лежала в тесном деревянном гробу, в том же праздничном платье, в каком была вчера; я поцеловал ее сложенные руки, и все женщины заплакали вместе со мной.

У дверей уже дожидались носильщики в белых плащах, с надвинутыми на глаза капюшонами. Они подняли гроб на плечи, капючины зажгли восковые свечи и запели погребальные псалмы. Мариучия шла со мной за гробом. Алое вечернее небо бросало на лицо матушки розоватый отблеск, и она лежала точно живая. Другие ребяташки весело прыгали вокруг нас по улице и собирали в бумажные трубочки воск, капавший со свечей монахов. Мы шли по той

же улице, где вчера двигалась праздничная процессия; на мостовой валялись еще цветы и листья, но все картины и красивые фигуры исчезли, как и мои детские беззаботность и веселость! Я смотрел, как отвалили на кладбище большую каменную плиту, прикрывавшую вход в склеп, как скользнул туда гроб, слышал, как он глухо стукнулся о другие гробы... Затем все ушли с кладбища, а меня Мариучия заставила опуститься у могилы на колени и прочесть «Ora pro nobis».

Лунной ночью мы с Мариучией, Федерико и еще двумя другими иностранцами выехали из Дженцано. Альбанские горы были окутаны густыми облаками; я смотрел на легкий туман, плывший при свете луны над Кампаньей; спутники мои говорили мало; скоро я заснул и видел во сне Мадонну, цветы и матушку: она опять была жива, улыбалась и разговаривала со мною!

Глава IV. Дядюшка Пеппо. Ночь в Колизее. Прощание с родным домом

Когда мы вернулись в Рим, в домик моей матери, был поднят вопрос о том, что, собственно, следовало делать со мной. Фра Мартино был за то, чтобы меня отправили в Кампанью, к родителям Мариучии, почтенной пастушеской чете; мои двадцать скудо были ведь для них целым

богатством, и они приняли бы меня как родного. Одно только смущало его: я наполовину уже принадлежал церкви, а отправившись в Кампанью, я бы уже не мог служить певчим в церкви капуцинов! Федерико же вообще стоял за то, чтобы меня поместили в какое-нибудь почтенное семейство в самом Риме; ему не хотелось, сказал он, чтобы из меня вышел грубый невежественный крестьянин. Пока фра Мартино советовался с братией в монастыре, неожиданно прискакал на четвереньках дядюшка Пеппо, услышавший о смерти матушки и о доставшихся мне двадцати скудо. Они-то главным образом и привлекли его сюда. Он заявил, что в качестве единственного моего родственника берет меня к себе, что и я, и все имущество, оставшееся после матушки, так же, как и двадцать скудо, принадлежат теперь ему! Мариучия принялась уверять его, что она и фра Мартино уже устроили все к лучшему, и дала понять Пеппо, что ему, калеке-нищему, впору заботиться о самом себе, а в это дело соваться нечего!

Федерико вышел из комнаты, и двое оставшихся высказали теперь друг другу свои эгоистичные побуждения, заставлявшие их заботиться обо мне. Дядюшка Пеппо излил на Мариучию весь запас своей желчи, а девушка наступала на него, как фурия. Ей, впрочем, не было

дела ни до него, ни до меня, ни до чего бы там ни было! Пусть он возьмет да переломит мне пару ребер, сделает из меня такого же калеку и нищего, который будет собирать гроши в его суму! Пусть он возьмет меня, но деньги она отдаст фра Мартино; фальшивым глазам Пеппо не удастся и взглянуть на них! Пеппо, в свою очередь, грозил проломить ей голову своей дощечкой, пробить в ней дыру величиной с площадь дель Пополо! Я стоял между ними и плакал. Мариучия оттолкнула меня от себя, а Пеппо потащил к дверям, говоря, что я должен идти за ним, держаться его одного, а если он возьмет на себя такую обузу, то вправе получить и награду! Римский сенат сумеет защитить права честного гражданина! И не успел я опомниться, как он вывел меня из дверей на улицу, где уже дожидался нас оборванный мальчишка с ослом. Для больших прогулок, а также если дело было к спеху, дядюшка бросал свои дощечки, и садился на осла, крепко обхватывая его своими сухими ногами; осел и всадник составляли тогда как бы одно целое. Пеппо посадил меня впереди себя, мальчишка стегнул осла, и мы поскакали во всю прыть. Пеппо на свой лад ласкал меня во все время пути.

— Видишь, мальчик! — говорил он. — Разве не чудесный у нас осел? Ишь как он летит!словно рысак по Корсо! Тебе будет у меня хорошо, как ангелу на небе, стройный ты мой мальчуган! — И

затем он принимался клясть Мариучию.

— Где ты украл такого хорошенького мальчугана? — спрашивали его знакомые, мимо которых мы проезжали, и моя история рассказывалась и повторялась чуть не на каждом перекрестке. Торговка водой с лимонными корками дала нам за этот длинный рассказ целый стакан своей воды, и мы распили его пополам. Едва мы успели добраться до дому, как солнце уже село. Я не говорил ни слова, только закрывал лицо руками и плакал. Пеппо свел меня в каморку рядом с большой комнатой и указал мне мою постель — ворох маисовой шелухи, прибавив, что я, вероятно, не голоден и уж тем меньше хочу пить: мы ведь только что выпили с ним целый стакан чудесной лимонной воды! Потом он потрепал меня по щеке, улыбаясь своей гадкой улыбкой, которая всегда так пугала меня, и спросил, много ли серебряных монет было в кошельке, брала ли из них Мариучия, чтобы заплатить веттуруино, и что сказал слуга, передавая мне деньги. Я не мог ответить ни на один из этих вопросов и только плакал, спрашивая, в свою очередь, — разве я останусь тут навсегда, разве я не вернусь завтра домой?

— Конечно, конечно! — ответил он. — А теперь засни, но не забудь сначала прочесть «Ave Maria»! Когда человек спит, дьявол бодрствует! Огради себя крестным знаменем — это железная

решетка, которая защитит тебя от рыкающего льва! Молись хорошенько и проси Мадонну наказать фальшивую Мариучию, обидевшую тебя, невинного младенца! Положись теперь на меня одного! Ну, спи! Отдушину я оставлю открытой; свежий воздух — пол-ужина! Не бойся летучих мышей! Они не влетят сюда, пролетят мимо, бедные твари! Спи сладко, мой ангелочек! — И он закрыл за собою дверь.

Долго ходил он по своей комнате, прибирая что-то; потом я услышал там чужие голоса, а сквозь щелочку увидел и свет лампы. Я приподнялся, но как можно осторожнее, потому что сухая солома сильно шуршала, и я боялся, что на этот шум войдут ко мне. Сквозь щель я увидел, что оба фитиля лампы были зажжены, на столе лежал хлеб и коренья, а бутылка с вином гуляла вокруг стола из рук в руки. За столом сидела целая компания нищих калек. Я сразу узнал их, хотя они смотрелись теперь совсем не так, как обыкновенно. Умиравший от лихорадки Лоренцо болтал без умолку и громко смеялся, а днем я всегда видел его распростертым на траве на холме Пинчио; обвязанная голова его опиралась тогда о древесный ствол, а губы еле шевелились; жена его, указывая на несчастного страдальца, взывала к состраданию прохожих. Франчия, беспалый детина, барабанил обрубками пальцев по плечу слепой Катарины и

вполголоса напевал песню о «Cavaliere Torchino». Двое-трое остальных сидели ближе к дверям и в тени, так что я не мог узнать их. Сердце у меня так и стучало от страха; я услышал, что они говорят обо мне.

— А годится мальчишка на что-нибудь? — спросил один. — Есть у него какой-нибудь изъян?

— Нет, Мадонна не была к нему так милостива! — сказал Пеппо. — Он строен и красив, как барский ребенок.

— Плохо! — сказали все, но слепая Катарина прибавила, что ничего не стоит немножко попортить меня, чтобы я мог снискивать себе хлеб земной, пока Мадонна не удостоит меня небесного.

— Да, — сказал Пеппо, — была бы умна сестра моя, мальчишка давно нашел бы свое счастье! У него такой голос, что у твоих ангелов! Он прямо рожден папским певчим! Из него вышел бы такой певец!

Они заговорили о моем возрасте, о том, что еще может случиться и что можно предпринять для моего счастья. Я не понял хорошенько, что такое они хотели сделать со мною, но ясно видел, что они замышляли дурное, и задрожал от страха. Как мне вырваться оттуда? Вот чем были заняты все мои мысли. И куда бежать? Над этим я, впрочем, не задумывался. Я отполз от дверей, взлез на какой-то чурбан, приподнялся к самой отдушине и

высунулся. На улице не было видно ни души; все двери были заперты. Мне предстояло сделать большой прыжок вниз, и я не решался на него, но вдруг мне показалось, что за ручку двери взялись... Кто-то хотел войти ко мне! Страх охватил меня, я разом скользнул по стене вниз и тяжело упал на землю и мягкий дерн.

Живо вскочил я и побежал по узким извилистым улицам куда глаза глядят; навстречу мне попался всего один прохожий, громко распевавший песню и постукивавший палкой о камни мостовой. Наконец я очутился на большой площади, залитой лунным светом. Я сразу узнал местность: это был римский Форум, или Коровья площадь, как мы звали ее.

Луна освещала заднюю стену Капитолия, похожую на отвесную скалу. На ступенях высокой лестницы, ведущей к арке Септимия Севера, растянулись несколько спящих нищих, закутанных в широкие плащи. Высокие колонны — остатки древних храмов — отбрасывали длинные тени. Никогда еще не бывал я тут после заката солнца; все казалось мне таким таинственным. Я споткнулся о верхушку разбитой мраморной колонны, скрывавшуюся в высокой траве, и упал. Поднявшись, я устремил взгляд на развалины дворца цезарей; густой плющ, одевавший их, придавал им еще более мрачный вид; высокие

кипарисы как-то зловеще тянулись к небу, и мне стало еще страшнее. Но в траве, между поверженными колоннами и кучами мраморного щебня, лежали коровы, пасся мул, и это слегка ободрило меня: здесь все-таки были живые существа, которые не сделают мне ничего дурного!

При свете луны было светло почти как днем; все предметы выступали так явственно. Вдруг я услышал чьи-то шаги... Что, если это меня ищут? В ужасе шмыгнул я в развалины огромного Колизея, лежавшего передо мною, будто целая цепь скал. Я остановился между двумя рядами колонн, огибавших половину всего строения и будто воздвигнутых только вчера — так хорошо они сохранились. Холодно здесь было, мрачно!.. Я сделал несколько шагов вперед, но тихо-тихо — меня пугал даже шум собственных шагов. Невдалеке виднелся костер, разведенный на земле; возле него вырисовывались тени трех человек; крестьяне ли — это расположились тут на ночлег, чтобы не ехать ночью через пустынную Кампанию, или солдаты-караульные, или, наконец, разбойники? Мне показалось, что я слышу звяканье их оружия, и я тихонько отступил в глубь строения, где над высокими колоннами уже не было другого свода, кроме густой сети ветвей и вьющихся растений. Странные тени рисовались на высоких стенах; квадратные плиты их во многих местах

разошлись и, казалось, держались еще на своих местах только благодаря густо опутавшим их стеблям плюща.

Вдали, в среднем проходе, двигались между колоннами люди, вероятно, путешественники, вздумавшие осмотреть эти достопримечательные руины при лунном свете. В числе их была одна дама, вся в белом. Я и теперь еще ясно вижу перед собой эту странную картину: люди двигались, скрывались между колоннами и опять показывались, освещенные луной и красным огнем факелов. Небо было самого густого синего цвета, а кусты и деревья темнели черным бархатом; каждый листочек дышал ночью. Я долго следил взглядом за иностранцами, после же того, как они скрылись из виду, за красным отблеском их факелов... Наконец исчез и этот, и все вокруг опять погрузилось в мрак и мертвую тишину.

Я уселся на вершушку разбитой колонны, что валялась в траве позади одного из деревянных алтарей, расположенных тут один возле другого и изображавших шествие Христа на Голгофу. Камень был холоден как лед, голова моя горела, по телу пробегал лихорадочный озноб. Сон бежал от меня, я лежал и припоминал все, что слышал когда-то о древнем Колизее, о пленных иудеях, которые должны были, по повелению могущественного римского цезаря, воздвигать эти огромные

каменные глыбы, о диких зверях, боровшихся тут на арене друг с другом, а часто и с людьми, и о зрителях, сидевших на каменных ступенях, подымавшихся от земли до самых верхних колонн.

В кустах позади меня зашуршало; я взглянул вверх, и мне показалось, что там что-то шевелится. Воображение мое принялось населять окружающий меня мрак бледными, мрачными образами, работавшими над постройкой здания. Я явственно слышал удары их орудий, воочию видел этих исхудалых бородатых евреев, вырывавших траву и кусты и громоздивших камень на камень до тех пор, пока сызнова не воздвигли гигантское здание... Передо мною волновалось целое море голов, двигалось какое-то бесконечное живое гигантское тело...

Затем я увидел весталок в длинных белых одеяниях, блестящий двор цезарей, голых, истекающих кровью гладиаторов; вокруг раздавался шум и рев... Это неслись со всех сторон стаи тигров и гиен; они пробегали мимо меня, я ощущал на своем лице их горячее дыхание, видел их огненные глаза и все крепче и крепче прижимался к своему камню, моля Мадонну о спасении, но дикий вой и шум вокруг меня все усиливались. Сквозь эти бешеные стаи я различил, однако, святой крест, который до сих пор еще стоит здесь и к которому я всегда набожно

прикладывался мимоходом, — напряг все свои силы, дополз до него и еще успел ясно почувствовать, что руки мои обвилились вокруг него, но затем все как будто рухнуло вокруг меня, все смешалось: стены, люди, звери... Я лишился сознания!

Когда я опять открыл глаза, лихорадка моя уже прошла, но я совсем ослабел, весь был точно разбит.

Я действительно лежал на ступенях перед большим крестом. Окинув взором всю окружающую обстановку, я не нашел в ней уже ничего страшного: на всем лежал отпечаток величавой торжественности; в кустах заливался соловей. Я стал думать о дорогом младенце Иисусе, Чья мать была теперь и моею, — другой у меня ведь не было, — опять обвил руками крест, прислонился к нему головою и скоро заснул подкрепляющим сном.

Я проспал, должно быть, несколько часов; разбудило меня пение псалмов. Солнце светило на верхнюю часть стены, капуцины с зажженными свечами в руках ходили от алтаря к алтарю и пели «Кирие элейсон». Вот они подошли к кресту, возле которого лежал я, и я узнал между ними фра Мартино. Он наклонился ко мне, мой расстроенный вид, моя бледность и то, что я находился здесь в такой час, испугали его. Как я объяснил ему все, не

знаю, но мой страх перед Пеппо, моя беспомощность и заброшенность достаточно говорили за меня. Я крепко схватился за коричневую рясу монаха и молил его не покидать меня; вся братия, казалось, приняла во мне живое участие; все они ведь знали меня, я бывал у них в кельях и пел с ними перед святыми алтарями.

Как же я был рад, очутившись с фра Мартино в монастыре, как скоро забыл все свои злоключения, сидя в его келейке, обклеенной по стенам старинными лубочными картинками, и глядя на апельсиновое дерево, протягивавшее свои зеленые душистые ветви прямо в окно! Вдобавок фра Мартино пообещал мне, что я больше не вернусь к Пеппо.

— Нельзя доверить мальчика нищему калеке, который день-деньской валяется на улице да клянчит милостыню! — сказал он другим монахам.

В полдень он принес мне на обед кореньев, хлеба и вина и сказал мне так торжественно и прочувствованно, что сердце мое затрепетало:

— Бедный мальчик! Будь твоя мать жива, нам бы не пришлось расставаться: церковь укрыла бы тебя, и ты вырос бы в ее тиши, под ее защитой! Теперь же ты будешь брошен в бурное житейское море, будешь носиться по нему на шаткой доске! Но не забывай своего Спасителя и Небесной Девы! Крепко держись их! У тебя во всем свете нет

никого, кроме их!

— Куда же я денусь? — спросил я, и он сказал, что я отправлюсь в Кампанью к родителям Мариучии, советовал мне почитать их, как своих родителей, слушаться их во всем и никогда не забывать молитв и всего того, чему он учил меня. Под вечер к воротам монастыря явилась Мариучия со своим отцом. Фра Мартино вывел меня к ним. Одеждою-то, пожалуй, и Пеппо перещеголял бы этого пастуха, которому сдавали меня на руки. Разорванные, запыленные кожаные сапоги, голые колени и остроконечная шляпа с воткнутым в нее цветком вереска — вот что прежде всего бросилось мне в глаза. Он опустился на колени, поцеловал руку фра Мартино и сказал, что я прехорошенький мальчик и что он и жена его будут делиться со мной последним куском хлеба. Мариучия вручила ему кошелек со всем моим богатством, и мы все вошли в церковь. Все сотворили про себя молитву; я тоже. опустился на колени, но не мог молиться — глаза мои все искали знакомые образа: Иисуса, плывущего по морю высоко над церковными дверями, ангелов на запрестольном образе и дивного архангела Михаила. Даже черепам в венках из плюща хотел я сказать последнее прости! Фра Мартино благословил меня и подарил мне на прощанье книжечку с рисунком на обложке: «*Modo di servire la sancta messa*».

Затем мы расстались. Проходя по площади Барберини, я не мог не бросить прощального взгляда на домик, в котором жил с матушкой, все окна были отворены, горницы ожидали новых жильцов.

Глава V. Кампанья

Итак, я должен был теперь поселиться в огромной степи, окружавшей старый Рим. Иностранцу, поклоннику искусства и старины, являющемуся из-за Альп и впервые созерцающему волны Тибра, эта высохшая пустыня кажется, пожалуй, развернутой страницей всемирной истории, а разбросанные по ней отдельные холмы священными письменами или целыми главами этой истории; художник также может идеализировать ее: нарисует одинокий остаток разрушенного водопровода, пастуха, сидящего возле стада овец, а на первом плане тощий репейник, и все говорят: «Какая красивая картинка!» Но совсем иными глазами смотрели на эту огромную равнину мой спутник и я. Спаленная зноем трава, нездоровый летний воздух, постоянно приносящий жителям Кампаньи лихорадку и злокачественные болезни — вот какие теневые стороны преобладали в воззрении моего провожатого. Для меня, впрочем, картина эта представляла все-таки нечто новое, и я

любовался красивыми горами, расцвеченными всеми оттенками лилового цвета и окаймлявшими равнину с одной стороны, любовался дикими буйволами и желтым Тибром, по берегам которого тащились длиннорогие быки под тяжелым ярмом, двигавшие против течения барки. Мы шли по тому же направлению.

Кругом, куда ни взглянешь, лишь низкая пожелтевшая трава и высокий полузавядший репейник. Мы прошли мимо креста, воздвигнутого над могилой убитого; тут же висели и отрубленные рука и нога убийцы. Я испугался, тем более что крест этот находился неподалеку от моего нового жилища. Жилищем же этим служила ни более ни менее как старая полуразрушившаяся древняя гробница, которых в этой местности такое множество. Пастухи Кампаньи в большинстве случаев и не ищут себе иных помещений: гробницы доставляют им нужный кров и защиту, а часто даже и удобства, стоит только засыпать некоторые углубления, заделать кое-какие отверстия, набросать тростниковую крышу и — жильё готово. Наше лежало на холме и было двухэтажное. Две коринфские колонны у узкого входа свидетельствовали о древности постройки; три же широких каменных столба — о позднейшей переделке. Может быть, в средние века гробница играла роль крепости. Дыра в стене над дверями

заменяла окно; половина крыши была из камыша и сухих ветвей, другая из живого кустарника; роскошные каприфолии свешивались над треснувшей стеной.

— Ну, вот и пришли! — сказал Бенедетто, и это были первые его слова за все время пути.

— Так мы тут будем жить? — спросил я, поглядывая то на мрачное жильё, то назад, на обрубленные члены разбойника. А Бенедетто, не отвечая мне, принялся звать жену:

— Доменика! Доменика!

Я увидел пожилую женщину, вся одежда которой состояла из одной грубой рубахи; ноги и руки были голы, а волосы свободно падали на спину. Она осыпала меня поцелуями и ласками, и уж если сам Бенедетто был молчалив, то она зато говорила и за себя, и за него. Она назвала меня маленьким Измаилом, посланным сюда, в пустыню, где растёт только дикий репейник.

— Но мы не заморим тебя жаждой! — продолжала она. — Старая Доменика будет для тебя доброй матерью вместо той, что молится теперь за тебя на небе! Постельку я тебе уж приготовила, бобы варятся, и мы все трое сядем сейчас за стол. А Мариучия не пришла с вами? А ты не видел святого отца? А не забыл ты привезти ветчины, медных крючков и новый образок Мадонны для дверей? Старый-то мы зацеловали до

того, что он почернел весь! Нет, не забыл? Ты ведь у меня молодец, старина, все помнишь, обо всем думаешь, Бенедетто!

Продолжая сыпать словами, она ввела меня в узкое пространство, называвшееся горницей; впоследствии оно казалось мне, впрочем, огромным, как зала Ватикана.

Я в самом деле думаю, что это жилище имело большое влияние на развитие моего поэтического воображения; эта маленькая площадка была для моей фантазии то же, что давление для молодой пальмы: чем больше ее гнетет к земле, тем сильнее она растет. Жилище наше, как сказано, служило некогда фамильной усыпальницей и состояло из большой комнаты с множеством небольших ниш, расположенных одна возле другой в два ряда; все были выложены мозаикой. Теперь эти ниши служили для самых разнообразных целей: одна заменяла кладовую, другая — полку для горшков и кружек, третья служила местом для разведения огня, на котором варились бобы.

Доменика прочла молитву, Бенедетто благословил кушанье. Когда же мы насытились, старушка проводила меня наверх по приставной лестнице, проникавшей через отверстие в своде во второй этаж, где мы все должны были спать в двух больших, некогда могильных, нишах. Для меня была приготовлена постель в глубине одной, рядом

с двумя связанными верхушками накрест палками, к которым было подвешено что-то вроде люльки. В ней лежал ребенок — должно быть, Мариучии. Он спал спокойно; я улегся на пол; из стены выпал один камень, и я мог через это отверстие видеть голубое небо и темный плющ, колебавшийся от ветра, словно птица. Пока я еще укладывался поудобнее, по стене пробежала пестрая, блестящая ящерица, но Доменика успокоила меня, говоря, что эти бедняжки больше боятся меня, чем я их, и не сделают мне никакого вреда. Затем она прочла надо мною «Ave Maria» и придвинула колыбельку к другой нише, где спала сама с Бенедетто. Я осенил себя крестом и стал думать о матушке, о Мадонне, о новых своих родителях и о руке и ноге разбойника, виденных мною неподалеку от дома, потом мало-помалу все спуталось в сонных грезах.

На следующий день с утра полил дождь, который и держал нас целую неделю взаперти в узкой комнате, где царил полумрак, несмотря на то что дверь стояла полуотворенной, когда ветер дул с нашей стороны.

Меня заставили качать малютку в парусиновой колыбели, а Доменика прядла и рассказывала мне о разбойниках Кампаньи, которые, впрочем, никогда не обижали их, пела мне священные песни, учила меня новым молитвам и рассказывала еще не известные мне жития святых.

Обычную пищу нашу составляли лук и хлеб; она была мне по вкусу, но я ужасно скучал, сидя взаперти в тесной комнате. Чтобы развлечь меня, Доменика провела перед дверью канавку, извилистый Гибр в миниатюре, с такою же желтой и медленно текущей водой. Флот мой состоял из щепочек и камышинок, и я заставлял его плавать от Рима до Остии. Но если дождь уж чересчур усиливался, дверь приходилось запирать, и мы сидели тогда почти в потемках. Доменика прятала, а я припоминал красивые образа монастырской церкви, представлял себе Иисуса, проплывающего мимо меня на корабле, Мадонну, возносимую ангелами к облакам, и надгробные плиты с высеченными на них черепами в венках.

Когда же дождливое время года кончилось, небо целые два месяца сияло безоблачной лазурью. Мне позволили бегать на воле с тем только, чтобы я не подбегал слишком близко к реке: рыхлая земля обрыва легко могла осыпаться подо мною, говорила Доменика. Кроме того, возле реки паслись стада диких буйволов. Но именно дикость-то их и опасность и возбуждали мое любопытство. Мрачный взгляд животных, странный дикий огонь, светившийся в их зрачках, — все это вызывало во мне чувство сродни тому, что влечет в пасть змеи птичку. Их дикий бег, быстрота, превосходящая лошадиную, их битвы между собою, состязание

равных сил — приковывали мое внимание. Я старался изобразить на песке виденные мною сцены, а для пояснения своих рисунков слагал песни, подбирая к ним мелодии и распевал их, к большому удовольствию Доменики, говорившей, что я — умница мальчик и пою, как ангел небесный.

День ото дня солнце палило все сильнее; целое море огненного света лилось на Кампанью. Стоячие гниющие воды заражали воздух, и мы могли выходить из дома только по утрам да вечерам; ничего такого не знал я в Риме на холме Пинчио. Я помнил, каково там было в самую жаркую пору года, когда нищие просили не на хлеб, а на кружку холодной воды, помнил и наваленные грудями чудесные зеленые арбузы, разрезанные пополам и обнажавшие свою пурпуровую мякоть с черными зернышками... Губы сохли при этих воспоминаниях еще сильнее! Солнце стояло прямо над головой, и тень моя, казалось, старалась спрятаться от его лучей под мои ноги. Буйволы лежали на спаленной траве неподвижно распростертыми, словно безжизненными, массажи или в бешенстве описывали по равнине большие круги. Вот когда душа моя прониклась представлением о мучениях путешественника в жгучей африканской пустыне!

В продолжение двух месяцев мы вели жизнь

потерпевших крушение в океане и спасшихся на обломке судна. Ни одна живая душа не навещала нас. Все дела по дому справлялись ночью или ранним утром. От нездорового воздуха и нестерпимой жары у меня сделалась лихорадка, и негде было взять даже капли свежей воды для утоления жажды. Все болота высохли; тепловатая желтая вода Тибра еле-еле текла, сок в дынях был также совсем теплый, и даже вино, несмотря на то что хранилось между камнями и прикрывалось травой, было кисло и точно наполовину сварено. Хоть бы единое облачко на горизонте! И днем и ночью та же ясная лазурь. Каждое утро, каждый вечер молились мы о ниспослании дождя или свежего ветра, каждое утро, каждый вечер смотрела Доменика по направлению к горам — не покажется ли там облачко, но нет, лишь ночь, душная ночь приносила с собою хоть какую-нибудь тень; два долгих-долгих месяца дул только удушливый, знойный сирокко.

Наконец, и то только на восходе да при закате солнца, стало веять прохладой, но тупость и какое-то оцепенение, в которое погрузили все мое существо мучительная жара и скука, все еще держали меня в своих тисках. Мухи и другие докучливые насекомые, казалось вконец уничтоженные жарой, опять возродились к жизни, да еще в удвоенном количестве. Мириадами

нападали они на нас и жалили своими ядовитыми жалами. Буйволы часто бывали сплошь покрыты этими жужжащими мириадами, набрасывавшимися на них, как на падаль. Доведенные до бешенства животные бросались в Тибр и барахтались в мутной воде. Истомившийся от летней жары римлянин, крадущийся по почти безжизненным улицам города вдоль самых стен домов, словно желая вдохнуть в себя жмущуюся к ним тень, не имеет все-таки и понятия о мучениях обитателя Кампаньи. Здесь дышишь серным, зачумленным воздухом; здесь насекомые, словно какие-то бешеные демоны, изводят обреченных жить в этой раскаленной печи.

В сентябре дни стали прохладнее, и однажды к нам явился Федерико. Он сделал несколько эскизов спаленной солнцем степи, срисовал и наше оригинальное жилище, крест на месте казни и диких буйволов, подарил мне бумагу и карандаш, чтобы и я тоже мог рисовать себе картинки, и пообещал, что в следующий раз, когда опять придет к нам, возьмет меня с собою в Рим: пора мне было навестить фра Марино, Мариучию и всех моих друзей, а то они, кажется, совсем позабыли меня! Но и самого-то Федерико пришлось упрекнуть в том же.

Вот пришел и ноябрь, самое прекрасное время года в Кампанье. С гор веяло прохладой, и я каждый вечер любовался богатой, свойственной

только югу игрою красок на облаках, которую не может, не рискует изобразить на своих картинах художник. Причудливые оливково-зеленые облака на желтоватом фоне казались мне плавучими островами из райского сада, а темно-синие, вырисовавшиеся на золотом небе, точно вершины пиний, казались горами в стране блаженства, у подножия которых играли и навевали крыльями прохладу добрые ангелы.

Однажды вечером я сидел и предавался своим мечтам, глядя на солнышко сквозь проколотый листок. Доменика нашла это вредным для глаз и, чтобы положить конец моей забаве, заперла дверь. Мне стало скучно, и я попросился погулять; Доменика позволила, я весело подпрыгнул, побежал к двери и распахнул ее, но в ту же минуту был сбит с ног. В дверь ворвался какой-то мужчина и быстро захлопнул ее за собою. Я едва успел взглянуть на его бледное лицо и услышать из его уст отчаянное воззвание к Мадонне, как вдруг дверь потряс такой удар, что из нее вылетело и обрушилось на нас несколько досок. В образовавшееся отверстие просунулась голова буйвола, яростно сверкавшего глазами.

Доменика вскрикнула, схватила меня за руку и прыгнула со мной на лестницу, которая вела во второй этаж. Смертельно бледный незнакомец растерянно огляделся кругом, заметил ружье

Бенедетто, постоянно висевшее, на случай ночного нападения, на стене, и быстро схватил его. Раздался выстрел, и я увидел сквозь пороховой дым, как незнакомец бил прикладом животное по лбу. Буйвол не шевелился: голова его застряла в узком отверстии, и он не мог двинуться ни взад, ни вперед.

— Святые угодники! — были первые слова Доменики. — Что же это такое?! Ведь вы убили животное!

— Хвала Мадонне! — ответил незнакомец. — Она спасла мне жизнь! А ты был моим ангелом-спасителем! — прибавил он, обращаясь ко мне и взяв меня на руки. — Ты открыл мне дверь спасения! — Он был еще совсем бледен, и по лбу у него катились крупные капли пота.

По речи его мы сейчас же узнали, что перед нами не иностранец, а римский вельможа. Он объяснил нам, что занимается собиранием разных цветов и растений, оставил поэтому свой экипаж у моста Молле и отправился пешком вдоль Тибра, но тут наткнулся на буйволов. Один из них погнался за ним, и он спасся только благодаря тому, что наша дверь внезапно, как бы чудом каким, раскрылась в самую опасную минуту.

— Пресвятая Дева — заступница наша! — промолвила Доменика. — Это Она и спасла вас! А орудием вашего спасения она избрала моего

Антонио! Она всегда благоволила к нему. Eccellenza еще не знает, что это за ребенок! Он читает и по-печатному, и по-писаному, а рисует как! Сразу можно угадать, что он хотел нарисовать. Он нарисовал и собор святого Петра, и буйволов, и толстого патера Амброзио! А голос у него какой! Послушал бы его Eccellenza! Папским певчим не поймать его ни в одной неверной нотке! И ко всему этому он такой добрый ребенок — на редкость! Я не стану хвалить его при нем, это вредно, но он стоит того!

— Но это ведь не ваш же сын? — спросил незнакомец. — Он еще так мал.

— А я так стара! — сказала она. — Правда, старое фиговое дерево не дает молоденьких отростков! У бедняжки нет ни отца, ни матери, никого на свете, кроме меня и Бенедетто! Но мы-то уж не расстанемся с ним — пусть даже выйдут все его денежки! Но, Пресвятая Дева! — прервала она себя самое и схватила за рога буйвола, из головы которого лилась в комнату кровь. — Надо же убрать животное! Не то ни нам не выйти, ни к нам не войти! Ах, Господи! Да он застрял так, что нам и не отделаться от него, пока не вернется Бенедетто! Только бы нам не досталось за убийство животного!

— Не беспокойтесь, матушка! — сказал незнакомец. — Я все беру на себя. Вы ведь,

конечно, знаете Боргезе?

— Ах, ваше сиятельство! — сказала Доменика и поцеловала край его одежды, а он пожал ей руку, подержал в своих мою и наказал Доменике прийти завтра утром со мной в Рим, в палаццо Боргезе.

Моя приемная мать даже прослезилась от такой великой милости, как она сказала, и непременно пожелала показать Eccellenza все мои царапанья карандашом на разных клочках бумаги, которые она припрятывала, словно эскизы самого Микеланджело. Eccellenza пришлось пересмотреть все, что так радовало ее, и я был очень польщен, так как он улыбнулся, потрепал меня по щеке и сказал, что я маленький Сальваторе Роза.

— Да! — сказала Доменика. — Кто подумает, что это рисовал ребенок? Ведь сразу видно, что он хотел нарисовать! Буйволы, лодки и наш домик! А вот это я! И похожа ведь? Только красок не хватает. Но нельзя же было раскрасить карандашом! А теперь спой! — обратилась она ко мне. — Спой, как умеешь, что-нибудь свое! Да, Eccellenza, он сам слагает целые истории и проповеди, что твой монах! Ну, спой же! Eccellenza господин добрый и хочет послушать тебя, а ты ведь сумеешь взять верный тон!

Незнакомец улыбнулся; ему, видно, забавно было глядеть на нас обоих. Я хорошо помню, что я начал петь и что Доменика пришла от моей

импровизации в восторг, но что именно я пел и как — не помню. Одно только ясно удержалось у меня в памяти: в песне моей фигурировали Мадонна, Eccellenza и буйвол. Eccellenza сидел молча, и Доменика истолковала его молчание восхищением.

— Захватите с собою мальчика! — вот все, что он сказал после моей импровизации. — Я буду ждать вас завтра утром! Впрочем, нет! Приходите лучше вечером, так за часок до «Ave Maria»! А когда придете, люди сейчас же доложат о вас, я уж предупрежу их! Но как же я выберусь отсюда? У вас нет другого выхода, через который бы я мог выйти и добраться до моего экипажа, не натываясь на буйволов?

— Есть-то есть, — сказала Доменика, — да не для Eccellenza! Мыто можем лазить, но для такого знатного господина эта дорога не годится! Наверху, видите ли, есть дыра, через которую надо выползти и тогда уж попросту спуститься по стене вниз. Это делаю даже я в мои годы! Но я не могу предложить этого гостю, да еще такому знатному господину!

Тем не менее Eccellenza поднялся по узенькой лесенке наверх, просунул голову в дыру и заявил, что спуск так же удобен, как capitoлийская лестница. К тому же буйволы в это время как раз повернули к Тибру, а по дороге, недалеко от нашего домика, лениво тащился крестьянский обоз, направлявшийся к большой дороге; к нему-то

Essellenza и решил пристать: за нагруженными связками камыша возами он мог быть в безопасности от нового нападения буйволов. Еще раз наказал он Доменике прийти со мною к нему на другой день, за час до «Ave Maria», протянул ей для поцелуя руку, потрепал по щеке меня, раздвинул густую зелень плюща и спустился по стене вниз. Скоро мы увидели, что он догнал крестьянский обоз и скрылся между возами.

Глава VI. Палаццо Боргезе. Конец детства

Бенедетто, с помощью двух других пастухов, оттащил животное от дверей, и тут-то пошли разговоры, но я помню ясно только то, что на другой день я был на ногах еще до рассвета, приготавливаясь к вечернему путешествию в Рим. Мое праздничное платье, лежавшее столько месяцев без употребления, снова увидело свет Божий; меня принарядили, и шляпу мою украсили свежей розой. Башмаки составляли самую слабую часть моего костюма; трудно, право, было решить, насколько они, собственно, соответствовали своему названию и не походили ли скорее на римские сандалии?

Как долго показался мне путь, как пекло солнце! Никогда еще фалернское или кипрское

вино не казалось мне таким вкусным, как вода, что струилась изо рта каменного льва у обелиска на площади дель Пополо. Я прижался горячей щекой к пасти льва и подставил под струю свою голову, к величайшему ужасу Доменики: я ведь замочил свое платье, и приглаженные волосы мои растрепались! Наконец мы дошли до величественного палаццо Боргезе, расположенного на улице Рипетта. Как часто и я, и Доменика проходили мимо него, не обращая на него особенного внимания! Теперь же мы остановились перед ним и созерцали его в почтительном молчании. Нас поразила его роскошь, особенно шелковые занавеси на окнах. Мы были уже знакомы с самим вельможным хозяином палаццо; он ведь был вчера нашим гостем, а теперь мы пришли к нему в гости, и это обстоятельство придавало в наших глазах особый интерес всему. Никогда не забуду я странного трепета, который охватил меня при виде роскошной обстановки палаццо. С самым знатным Eccellenza я уже познакомился, видел, что он такой же человек, как и другие, но эта роскошь, это великолепие!.. Да, теперь я видел тот блеск, то сияние, которое отличает святых от простых смертных! Внутри двора был разбит четырехугольный садик, обнесенный высокой белой колоннадой; в нишах красовались статуи и бюсты. Высокие кусты алоэ и кактусов росли возле колонн; ветви, лимонных

деревьев сгибались под тяжестью зеленоватых плодов, — солнце еще не успело позолотить их. Две пляшущие вакханки высоко подымали кверху чаши с водой, которая и лилась им прямо на плечи. Большие водяные растения протягивали к ним свои сочные зеленые листья. И сравнить только эту прохладу, эту зелень, этот аромат с нашей желтой, дышащей огнем, спаленной Кампаньей!

Мы поднялись по широкой мраморной лестнице. В нишах стояли прекрасные статуи; перед одной из них Доменика благочестиво преклонила колени и перекрестилась: она думала, что это Мадонна, а я узнал впоследствии, что это была Веста, тоже почитавшееся в свое время олицетворение девственности. Слуги в богатых ливреях встретили нас и так дружески поклонились нам, что страх мой мало-помалу прошел. Только бы залы не были так огромны и роскошны! Полы были выстланы гладким блестящим мрамором, по стенам всюду висели чудные картины, а где не было их, там самые стены были из зеркального стекла и разрисованы летающими ангельчиками, гирляндами, венками и пестрыми птицами, клевавшими красные и золотые плоды. Сроду не видывал я такой красоты!

Нам пришлось немножко подождать, пока, наконец, Eccellenza вышел к нам в сопровождении прекрасной, одетой в белое дамы. Большие живые

глаза ее пристально, но приветливо устремились на меня; потом она откинула мне со лба волосы и сказала Eccellenza:

— Ну, не говорила ли я, что вас спас ангел! Бьюсь об заклад, что под этим некрасивым узким платьем у него спрятаны крылышки!

— Нет! — ответил тот. — Я читаю на его красных щеках, что много воды утечет в море из Тибра, прежде чем он распустит свои крылышки. Небось и старушка не хочет, чтобы он улетел от нас на небо! Не правда ли, вы не хотите лишиться его?

— Нет! Без него в нашей хижине стало бы так мрачно и пусто! Это все одно что замуровать в ней все окна и двери! Нет, я не могу расстаться с нашим милым мальчиком!

— Ну, на сегодняшней-то вечер можете! — сказала дама. — Пусть он побудет у нас несколько часов, а потом вы придете за ним. Ночь лунная, идти домой будет светло, а разбойников ведь вы не боитесь?

— Да, пусть мальчик останется тут на часок, а вы тем временем закупите себе, что нужно для дома! — сказал Eccellenza и сунул Доменике в руки небольшой кошелек. Больше я ничего не слышал — дама увела меня в залу, оставив старуху с Eccellenza.

Роскошь обстановки и блестящее знатное общество совсем ослепили меня. Я глядел то на

нарисованных на стенах улыбающихся ангельчиков, выглядывавших из-за зеленых гирлянд, то на сенаторов в лиловых и кардиналов в красных чулках; они всегда казались мне какими-то полубогами, а теперь я сам попал в их общество. Но больше всего привлекал мои взгляды прекрасный амур — прелестный ребенок, сидевший верхом на безобразном дельфине, выбрасывавшем в воздух две высокие водяные струи, которые затем ниспадали обратно в бассейн, стоявший посреди залы.

Знатное общество, да, все — и кардиналы, и сенаторы с улыбкой поздоровались со мною, а один молодой офицер, в мундире папских гвардейцев, даже протянул мне руку, когда молодая дама представила меня ему в качестве ангела-хранителя ее дяди. Меня забросали вопросами, на которые я бойко отвечал, вызывая смех и рукоплескания. Потом явился и Eccellenza и сказал, что я должен спеть им песню. Я охотно согласился. Молодой офицер поднес мне шипучего вина и велел выпить, но молодая дама покачала головой и отняла у меня стакан после первого же глотка. Словно огонь разлился по моим жилам, когда я выпил вино. Офицер предложил мне воспеть эту прекрасную молодую даму, стоявшую рядом и глядевшую на меня с улыбкой, и я охотно исполнил его желание. Бог знает, что такое я плел, но моя болтовня сошла

за красноречие, смелость за остроумие, а то обстоятельство, что я был бедный мальчик из Кампаньи, придало всему отпечаток гениальности. Все аплодировали мне, а офицер снял прекрасный лавровый венок с бюста, стоявшего в углу, и, смеясь, надел его на голову мне. Все это, конечно, было шуткой, но я-то принял все всерьез, и оказанное мне внимание привело меня в самое блаженное настроение, доставило мне лучшие минуты в жизни. Затем я перешел к песням, которым научили меня Мариучия и Доменика, описывал обществу злые глаза буйволов и наше маленькое жилище, переделанное из гробницы, и время пролетело для меня незаметно. Явилась Доменика, и я должен был отправиться домой. Я шел за своей приемной матерью, нагруженный пирожными, фруктами и блестящими серебряными монетами. Доменика сияла, как и я: она сделала богатые покупки — купила и на платья, и кое-что из кухонной утвари, и две большие бутылки вина. Вечер был удивительно хорош. Ночная. тьма окутывала деревья и кусты, но в вышине над нами сиял полный месяц, словно чудный золотой челн, колышущийся на волнах темно-синего моря, струившего прохладу на спаленную Кампанью.

Вернувшись домой, я только и думал о богатых покоях палаццо, о ласковой даме и о рукоплесканиях и наяву и во сне бредил этой

прекрасной мечтой, которая скоро опять стала действительностью, прекрасной действительностью. Я не раз побывал в гостях в роскошном палаццо, прекрасная ласковая дама забавлялась моей оригинальностью и заставляла меня рассказывать, болтать с нею, как со старой Доменикой; ей это, по-видимому, доставляло большое удовольствие, и она хвалила меня *Essellenza*. Он тоже был очень добр ко мне — главным образом, потому, что был невинной причиной смерти моей матери. Это он ведь сидел в экипаже, который понесли взбесившиеся лошади. Прекрасную даму звали Франческой; она часто брала меня с собою в роскошную картинную галерею палаццо Боргезе. Мои наивные вопросы и замечания насчет чудных картин часто смешили ее, она передавала их другим, и те тоже смеялись. По утрам галерея была открыта для публики, и в ней толпились иностранцы, сидели и копировали разные картины художники, но после обеда галерея стояла пустою. Тогда-то мы с Франческой и расхаживали по ней; путеводительница моя рассказывала мне при этом разные истории, имевшие отношение к картинам.

Особенно нравились мне «Времена года» Франческо Альбани. Все эти хорошенькие веселые ангелочки или амурчики, как говорила Франческа, как будто выскочили из моих сновидений! Как

чудно резвятся они на картине «Весна!» Целая толпа их точит свои стрелы, один вертит точило, а двое, паря в воздухе, поливают камень водою. На картине «Лето» одни летают вокруг дерева и рвут с него плоды, другие купаются и шалят в свежих струях воды. На картине «Осень» изображены осенние удовольствия: амур сидит с факелом в руках на маленькой колеснице, которую везут двое его товарищей, а любовь манит охотника в уютный уголок, где они могут отдохнуть рядышком. «Зима» убаюкала всех малюток; крепко спят они; нимфы стащили у них колчаны и стрелы и бросают эти опасные орудия в огонь, который скоро и уничтожит их.

Почему ангелочки назывались амурами, зачем они стреляли — да и много еще о чем хотел я разузнать поподробнее, не довольствуясь беглыми объяснениями. Франчески, но она говорила мне:

— Ты сам должен прочесть обо всем! Многому надо еще тебе учиться! Но корень ученья горек! День-деньской придется сидеть за книжкой, на скамейке, нельзя уже будет играть с козлятами в Кампанье или ходить сюда любоваться на твоих маленьких друзей — амурчиков! А чего бы тебе больше хотелось: скакать верхом, с развевающимся султаном на каске, за каретой святого отца, надеть блестящие доспехи, как те, что носит Фабиани, или научиться понимать все эти прелестные картины,

познавать мир Божий и узнать множество историй, куда прекраснее тех, которые я тебе рассказывала?

— Но разве я уж совсем не буду больше приходить к тебе? — спросил я. — И разве я не могу всегда оставаться у доброй Доменики?

— Ты ведь помнишь еще свою мать, помнишь, как тебе хорошо жилось у нее? Тогда тебе вечно хотелось жить с нею, ты и не думал ни о Доменике, ни обо мне, а теперь мы стали тебе самыми близкими людьми. Настанет время — опять все может перемениться, — в таких переменах проходит вся жизнь!

— Но ведь вы же не умрете, как матушка? — спросил я со слезами на глазах.

— Умереть или вообще расстаться друг с другом всем нам когда-нибудь придется! Наступит время, когда нам уже нельзя будет так часто видеться, как теперь, и мне хотелось бы видеть тебя тогда веселым и счастливым!

Поток слез был моим ответом. Я чувствовал себя таким несчастным, сам хорошенько не зная причины. Франческа потрепала меня по щеке и сказала, что у меня слишком мягкое сердце, а это не годится. Тут подошел *Essellenza* с молодым офицером, который увенчал меня после моей первой импровизации лаврами: звали его Фабиани, и он тоже очень любил меня.

На вилле Боргезе свадьба, блестящая

свадьба! — вот какой слух донесся через несколько дней до бедной хижины Доменики. Франческа выходила замуж за Фабиани и затем должна была уехать с ним в его имение близ Флоренции. Свадьбу праздновали на вилле Боргезе, лежавшей неподалеку от Рима и окруженной густым парком из вечнозеленых лавровых деревьев, мощных дубов и высоких пиний, что и летом, и зимою поднимают к голубому небу свои одинаково зеленые вершины. И в те времена, как теперь, парк этот служил излюбленным местом прогулок и для римлян, и для приезжих иностранцев. По густым дубовым аллеям катились богатые экипажи; белые лебеди плавали по тихим озерам, в которых отражались плакучие ивы; по гранитным уступам сбегали водопады. Пышногрудые римлянки с огненными глазами ехали на праздник в экипажах, гордо поглядывая на жизнерадостных поселянок, плясавших по дороге, потряхивая тамбуринами. Старая Доменика пешком приплелась со мной на виллу Боргезе, чтобы присутствовать на свадьбе нашей благодетельницы. Мы стояли в саду и смотрели на освещенные окна виллы. Франческа и Фабиани были уже обвенчаны. Из внутренних покоев доносились звуки музыки, а над зеленым лугом, где был расположен амфитеатр, взлетали ракеты и бураки, рассыпавшиеся искрами в голубом воздухе.

В одной из высоких оконных ниш показались

две тени — кавалер и дама.

— Это он и она! — сказала Доменика.

Тени склонились друг к другу и как будто слились в поцелуе... Я увидел, что моя приемная мать сложила руки, творя молитву; я тоже невольно преклонил колени под темными кипарисами и начал молиться за свою дорогую синьору. Доменика опустилась на колени рядом со мною: «Пошли им Бог счастья!» В ту же минуту ракета разлетелась, и с неба как будто упали тысячи звездочек, в знак того, что желание старухи сбудется. Но она все-таки плакала, плакала обо мне: нам предстояла скорая разлука! Eccellenza внес за меня деньги в Иезуитскую коллегию, и я должен был воспитываться там, вместе с другими детьми, для более блестящей будущности, нежели та, которая могла ожидать меня в Кампанье у Доменики и Бенедетто.

— Пожалуй, в последний раз на моем веку иду я с тобою через Кампанью, — сказала мне старуха. — Теперь ты будешь ходить по блестящему паркету да мягким коврам! Их нет у бедной Доменики, но ты был добрым мальчиком, останешься им и никогда не забудешь ни меня, ни бедного Бенедетто! Господи, подумать только, что теперь тебя может еще осчастливить блюдо жареных каштанов! Ты можешь еще забавляться, играя на дудочке из тростинки, и глаза твои

светятся радостью небесною, глядя, как жарятся на камыше каштаны! Потом ты никогда уже не будешь так радоваться всякой безделице. Репейник Кампаньи цветет все-таки красными цветами, а на блестящем полу в богатых покоях не растет и соломинки, на нем легко поскользнуться! Не забывай никогда, что ты из бедной семьи, мой милый Антонио! Помни, что ты должен и видеть, и не видеть, и слышать, и не слышать! Вот как придется тебе пробивать себе дорогу! Когда Господь призовет к себе нас с Бенедетто, когда ребенок, которого ты качал в люльке, будет мыкать жизнь бедным крестьянином в Кампанье, ты, может быть, приедешь когда-нибудь в богатой карете или верхом на великолепном коне взглянуть на старую гробницу, где ты спал, играл и жил с нами, и увидишь, что в ней живут чужие люди, которые низко поклонятся тебе! Но ты не возгордишься! Ты вспомнишь прежние дни, старую Доменику, жареные каштаны и ребенка, которого ты баюкал, вспомнишь свое собственное бедное детство — у тебя ведь золотое сердце, мой Антонио! — Тут она крепко поцеловала меня и заплакала.

Сердце мое готово было разорваться. Этот обратный путь домой и ее речи были для меня тяжелее самой разлуки. Тогда Доменика уж ничего не говорила, а только плакала. Когда же мы вышли из дому, она вдруг вернулась назад, сорвала с

дверей старый закоптелый образок Мадонны и отдала его мне: я ведь так часто целовал его, и ей больше нечего было дать мне!

Глава VII. Школьная жизнь. Аббас Дада — «Divina Commedia». Племянник сенатора

Синьора уехала с мужем во Флоренцию, а меня водворили в Иезуитскую коллегию. У меня появились новые занятия, новые знакомства, драма моей жизни начала развиваться. Тут целые годы как будто сокращаются в один год, каждый час богат содержанием; это целый ряд картин, которые теперь, при взгляде на них издалека, сливаются в одну общую картину моей школьной жизни. Как для путешественника, в первый раз поднявшегося на Альпы, открывается и выступает из мало-помалу рассеивающегося тумана то вершина горы, с городами и селениями, то освещенная солнцем часть долины, так открывался, выступал и рос перед моим умственным взором Божий мир. Из-за гор, окружавших Кампанию, мало-помалу выступали страны и города, которые мне прежде и во сне не снились; история населяла каждое местечко, пела мне диковинные предания и сказания; каждый цветок, каждое растение получали для меня значение, но прекраснее всего

казалось мне мое отечество, чудная Италия. Я гордился тем, что родился римлянином: каждая пядь земли в моем родном городе была мне дорога и интересна; вершины колонн, служившие краеугольными камнями домов в узких улицах, были для меня священными памятниками, колоссами Мемнона, певшими моему сердцу чудные песни. Тростник Тибра шептал мне о Ромуле и Реме; триумфальные арки, колонны и статуи укрепляли в моей памяти историю отчизны. Я жил душою во временах классической древности, и современники, в лице моего учителя истории, хвалили меня за это.

В каждом обществе — в кругу дипломатов и в кругу духовных лиц, в веселой компании, собравшейся в простой харчевне, и в знатном обществе, убивающем время за картежными столами, — всюду бывает свой арлекин. В школах арлекины водятся и поныне. Молодые глаза легко отыскивают себе мишень для насмешек! У нас тоже был свой арлекин, да еще получше всякого другого: самый серьезный, ворчливый, педантичный и тем более забавный. Это был аббат Аббас Дада, арабский отпрыск, пересаженный на папскую почву еще в юности, ныне руководитель и просветитель нашего вкуса, светоч Иезуитской коллегии и даже самой Академии Тиберина.

Взрослым я много размышлял о поэзии, об

этом удивительном даре богов. Она представляется мне богатой золотой рудой в горе; образование и воспитание — вот искусные рудокопы, которые очищают ее; попадаются, впрочем, в горах и чисто золотые самородки; это — лирические импровизации природного поэта. Но кроме золотых и серебряных руд, есть также и свинцовые, и другие менее ценные, которыми тоже не следует пренебрегать: благодаря искусной обработке и полировке и простые металлы могут приобрести вид и блеск настоящего золота или серебра. Я поэтому делю всех поэтов на золотых, серебряных, медных и железных. Но есть еще целая толпа мастеров, занимающихся разработкой простых глиняных пластов; это — не поэты, которым, однако, очень хочется попасть в сонм поэтов. К таким-то вот и принадлежал Аббас Дада; его искусства как раз хватало только на лепку своего рода глиняных горшков, которые он с известной поэтической вольностью и разбивал о людей, далеко превосходивших его самого и глубиной чувства, и поэтическим дарованием. Легкие, гибкие стихи, крайне вычурные по форме, образовывавшие на бумаге разные вазы, сердечки и т. п., — вот что пленяло и восхищало его. Поэтому пристрастие его к Петрарке приходится объяснить или дивной мелодией сонетов последнего, или модой, или просто, наконец, светлой манией его больного

мозга; вообще же Петрарка и Аббас Дада были два наиболее разнородных существа. Аббас Дада заставил нас выучить наизусть чуть ли не четвертую часть длинной эпической поэмы Петрарки «Африка», и Сципионы стоили нам многих слез и розог. Кроме того, он ежедневно восхвалял нам основательность и глубину Петрарки. «Поверхностные же поэты, — говорил он, — пишущие акварелью, эти дети фантазии, — настоящее отродие соблазна. Даже величайший из них, Данте, не мог стяжать себе бессмертия иначе, как призвав на помощь и небо, и землю, и ад, тогда как Петрарке довольно было написать один маленький сонет! И на мой взгляд, Данте весьма и весьма неважный поэт! Конечно, он мастер писать стихи! И эти-то волны звуков и доносят его Вавилонскую башню до отдаленнейших поколений. Да если бы еще он выполнил свой первоначальный план, написал всю поэму по-латыни, этим он доказал бы хоть свою ученость, но латинский язык стеснял его, и он предпочел ему наше вульгарное наречие, которое держится и поныне. Боккаччо сравнивает Данте с потоком, по которому и лев проплывет, и ягненок пройдет вброд. Я же не нахожу в нем ни этой глубины, ни этой простоты. У него нет надлежащего устоя; он вечно колеблется между древним миром и нашим. А вот Петрарка, этот апостол правды, не сажал умершего папу или

императора в ад, чтобы доказать этим свою храбрость! Он был для своего времени все равно что хор для греческой трагедии, выступал как своего рода Кассандра, предостерегая и порицая как пап, так и князей. Он осмелился сказать Карлу IV в лицо: «По тебе видно, что добродетель не наследственна!» Когда же Рим и Париж хотели венчать его лаврами, он с благородным сознанием своего достоинства обратился к своим современникам за подтверждением того, что он действительно достоин такой чести, и в продолжение трех дней позволял экзаменоваться себя, как школьника, прежде чем вступил в Капитолий, где король Неаполитанский надел на него пурпурную тогу, а римский сенат увенчал лаврами, которых не дождался Данте!»

Таким образом, Аббас Дада вечно бил на то, чтобы вознести Петрарку и унижить Данте, между тем как оба эти поэта достойны стоять рядом, как душистая фиалка и пышно цветущий розовый куст. Мы должны были выучить наизусть все сонеты Петрарки, из Данте же не прочли ни одной строчки, и только из порицаний Аббаса Дада я узнал, что Данте затронул в своей поэме и рай, и чистилище, и ад, три стихии, особенно увлекавшие меня и возбуждавшие во мне пламенное желание познакомиться с творением Данте хотя бы тайком: Аббас Дада никогда не простил бы мне

прикосновения к этому запретному плоду!

Однажды, бродя по площади Навоне между грудями апельсинов, разбросанными по земле обломками старого железа, старыми платьями и другим хламом, я наткнулся на столик букиниста, заваленный старыми книгами и картинами. Тут были разложены и карикатуры на обжор, уплетающих макароны, и изображения Мадонны с сердцем, пронзенным мечом, и другие крайне разнообразные предметы. Внимание мое привлек том *Метастазियो*; в кармане у меня был один паоло⁷, последний остаток карманных денег, данных мне полгода тому назад *Essellenza*. Для меня паоло было теперь целым богатством, и я готов был поступиться из него разве несколькими байоко. Наконец я почти уже сторговал *Метастазियो*, как вдруг увидал заглавие другой книги: «*Divina comedia di Dante*»! Запретный плод с древа познания добра и зла! Я бросил *Метастазियो* и схватился за «*Комедию*», но она оказалась мне не по карману: за нее требовали три паоло! Я повертывал свое паоло в руках, оно просто жгло мне руки, но удвоиться никак не хотело, а между тем решительная цена книги была объявлена — два

⁷ Итальянское скудо равняется десяти паоло, а паоло десяти байоко.

паоло! Это была ведь лучшая итальянская книга, первое поэтическое произведение в мире, сказал продавец и принялся изливать потоки красноречия, распинаясь за униженного Аббасом Дада Данте.

— Каждая страница стоит проповеди! — говорил он. — Это пророк Божий, который через пламень ада ведет вас в вечный рай! Вы не знаете его, молодой синьор, не то вы сейчас же ударили бы по рукам, хоть бы я запросил за него целое скудо! Подумайте, вы на всю жизнь приобретете себе такую книгу, лучшее произведение своего отечества, и всего за два жалких паоло!

Ах, я бы охотно отдал и три, будь они только у меня, но теперь я, как лисица, для которой виноград кисел, захотел показать свою ученость и пустил в ход грозные филиппики Аббаса Дада против Данте, превознося в то же время Петрарку.

Но букинист с жаром и увлечением отпарировал мои нападки на его любимого поэта и затем прибавил:

— Да, да! Вы еще слишком юны, а я слишком невежествен, чтобы нам с вами судить таких людей. Пусть каждый будет хорош по-своему! К тому же вы не читали Данте! Не могли читать! Юная, горячая душа не может изливать желчь на мирового гения!

Я честно сознался, что мое суждение основано единственно на отзывах моего учителя; тогда

продавец, в припадке увлечения своим любимым поэтом, сунул мне в руки книгу и попросил в вознаграждение за недоплаченный ему паоло одного — прочесть и не осуждать гордость Италии, его дорогого, божественного Данте.

Как же я был счастлив! Книга была теперь моей собственностью, моей вечной собственностью! Я всегда не доверял осуждению ее желчным Аббасом Дада, а теперь любопытство мое еще более было подзадорено восторженными похвалами букиниста, и я едва-едва дождался минуты, когда наконец, мог втихомолку приняться за чтение.

С этой минуты для меня началась новая жизнь! Мое воображение открыло в Данте новую Америку с величественной, роскошной природой, превосходящей все, что я знал доселе. Какие могучие скалы, какие яркие краски представились мне! Я сам переживал все, страдал и наслаждался вместе с бессмертным певцом, странствовал вместе с ним по аду, и в ушах у меня непрерывно раздавалась, словно глас трубный, надпись над воротами ада:

Здесь мною входят в
скорбный град к
мученьям,
Здесь мною входят к

муке вековой,
Здесь мною входят к
падшим поколениям.
Подвигнут правдой
вечный Зодчий мой.
Господня сила, разум
всемогуший
И первыя любви
дух святой
Меня создали
прежде твари сущей,
Но после вечных и
мне века нет.
Оставь надежду всяк
сюда идущий⁸!

Я видел этот воздух, вечно черный, как песок пустыни, крутимый вихрем, видел, как опадало семя Адама, словно листья осенью, слышал, как стонали в воздушном пространстве скорбящие духи. Я оплакивал великих подвижников мысли, обретавшихся здесь за то только, что они не были христианами. Гомер, Сократ, Брут, Вергилий и другие лучшие, благороднейшие представители древности были навсегда удалены от рая. Меня не

⁸ Перевод Дмитрия Мина.

удовлетворяло то, что Данте устроил их здесь так уютно и хорошо, как только может быть в аду, — все же существование их было безнадежной тоской, скорбью без мучений, все же они принадлежали к тому же царству проклятых, которые заключены в глубоких адских болотах, где вздохи их всплывают пузырями, полными яда и заразительных испарений. Почему Христос, спустившись в ад и затем снова воспаривши в обитель Отца Небесного, не мог взять из этой долины скорби всех? Разве любовь могла выбирать между равно несчастными? Я совсем забывал, что все это было только плодом поэтического творчества. Вздохи, раздававшиеся из смоляного котла, доходили до моего сердца; я видел сонм симонистов, выплывавших на поверхность, где их кололи острыми вилами демоны. Исполненные жизни описания Данте глубоко врезывались в мою душу, мешались днем с моими думами, ночью — с моими грезами. По ночам часто слышали, как я кричал во сне: «Pape Satan, alepp Satan pape!» — и думали, что меня мучает лукавый, а это я бредил прочитанным. Во время классов я был рассеян; тысячи мыслей занимали мой ум, и при всем своем добром желании я не мог отделаться от них. «Где ты витаешь, Антонио?» — спрашивали меня, и меня охватывали страх и стыд: я знал — где, но расстаться с Данте, прежде чем пройду с ним весь

путь, не мог.

День казался мне невыносимо длинным и тяжелым, как вызолоченные свинцовые колпаки, которые должны были носить в аду лицемеры. С трепетом крался я к запрещенному плоду и упивался ужасными видениями, казнившими меня за мои воображаемые грехи. Я сам чувствовал жало адских змей, кружащихся в пламени, откуда они возрождаются, как фениксы, и изливают свой яд.

Другие воспитанники, спавшие в одной комнате со мною, часто просыпались по ночам от моих криков и рассказывали о моих странных бессвязных речах об аде и грешниках. Старый же дядька увидел однажды утром, к великому своему ужасу, что я, с открытыми глазами, но во сне, приподнялся на кровати, называя сатану, начал бороться с ним и, наконец, обессиленный упал на подушки.

Тут уж все убедились, что меня мучил лукавый, постель мою окропили святою водой, а меня ежедневно перед отходом ко сну заставляли читать установленное число молитв. Ничто не могло вреднее отзываться на моем здоровье: моя кровь волновалась еще сильнее, сам я приходил в еще более нервное возбуждение, — я ведь знал причину своего волнения и видел, как обнаруживаю ее. Наконец настал кризис, и буря улеглась.

Первым по способностям и по знатности

происхождения был между нами, воспитанниками, Бернардо, жизнерадостный, почти чересчур резвый юноша. Его ежедневной забавой было садиться верхом на выдававшийся над четвертым этажом строения водосточный желоб или балансировать на доске, перекинутой под самой крышей из одного углового окна в другое. Все шалости, случавшиеся в нашем маленьком школьном царстве, приписывались ему, и почти всегда справедливо. У нас старались ввести монастырскую дисциплину и спокойствие, но Бернардо играл роль духа возмущения и разрушения. Злых шалостей он, впрочем, себе не позволял, разве только по отношению к педанту Аббасу Дада; между ними поэтому всегда были довольно натянутые отношения, но Бернардо это обстоятельство ничуть не беспокоило: он был племянник римского сенатора, очень богат, и его ожидала блестящая будущность. «Счастье, — говаривал Аббас Дада, — часто бросает свои перлы в гнилые чурбаны и обходит стройные пинии!»

У Бернардо были свои определенные мнения обо всем, и если товарищи не желали признавать их, то он прибегал к помощи кулаков. И ими уж вбивал в спины бестолковых свои молодые, зеленые идеи. Победа, таким образом, всегда оставалась за ним. Несмотря на несходство наших натур, между нами установились наилучшие

отношения. Я всегда уступал ему во всем, но это-то именно и давало ему повод к насмешкам надо мною.

— Антонио! — говорил он. — Я бы побил тебя, если бы знал, что это хоть немножко расшевелит в тебе желчь. Хоть бы раз ты выказал характер! Ударь ты меня кулаком в лицо за мои насмешки над тобою, я бы стал твоим вернейшим другом, но так я просто отчаиваюсь в тебе!

Однажды утром, когда мы остались с ним одни в зале, он уселся на стол передо мною, насмешливо поглядел мне прямо в глаза и сказал:

— Ты, однако, и меня перещеголял, плут этакий, — превосходно играешь комедию! А они-то кропят его постель святой водой, окуривают его ладаном! Ты думаешь, я не знаю, в чем дело? Ты читал Данте!

Я вспыхнул и спросил, как он может обвинять меня в подобном.

— Да ты сам описал сегодня ночью дьявола, точь-в-точь как он описан в «Divina commedia»! Рассказать тебе, что ли, историю? У тебя ведь богатая фантазия, и тебе это должно быть по вкусу! В аду, как ты сам знаешь из поэмы Данте, есть не только огненные озера и отравленные болота, но и большие замерзшие пруды, где души навек заморожены во льду. Миновав их, приходишь к глубочайшей бездне, где находятся изменники и

предатели своих благодетелей; между ними и Люцифер, как восставший против Бога, нашего величайшего благодетеля. Он стоит во льду по самую грудь и держит в разинутой пасти Брута, Кассия и Иуду Искарриота; голова Иуды находится в самой глубине ее. Ужасный Люцифер стоит и машет крыльями, словно чудовищная летучая мышь! Так вот, дружок мой, раз увидев такого молодца, не так-то скоро его позабудешь! Познакомился же я с ним в Дантовом аду. И вот сегодня ночью ты описал его со всеми мельчайшими подробностями, и я сказал тебе тогда, как и теперь: «Ты читал Данте!» Но ты-то тогда был чистосердечнее, чем теперь. Ты зашикал и произнес имя нашего любезного Аббаса Дада! Ну, сознайся же мне и теперь! Я не выдам тебя! Наконец-то и ты заявил себя молодцом. Недаром же я все еще не терял надежды на тебя! Но откуда ты достал книгу? Я бы мог дать ее тебе! Я приобрел ее, как только услышал брань Аббаса Дада: я сразу смекнул, что ее стоит прочесть. Два толстенных тома напугали было меня, но я все-таки взялся за них назло Аббасу Дада и вот теперь перечитываю их в третий раз. Не правда ли, ад превосходит? Как ты думаешь, куда угодит наш Аббас Дада? Его, пожалуй, доймут и жаром, и холодом!

Итак, в мою тайну проникли, но я знал, что мог положиться на скромность Бернардо. С тех пор

между нами установились еще более тесные дружеские отношения; все наши разговоры наедине вертелись на одном — «Divina commedia». Я был от нее в восторге, и чувствам моим нужен был исход — Данте и его бессмертное произведение и дали мне тему для первого моего стихотворения, которое я занес на бумагу.

В предисловии к «Divina commedia» находилась биография Данте, конечно краткая, но с меня было довольно и этого. И вот я воспел поэта и его возлюбленную Беатриче, его чистую духовную любовь, его страдания во время борьбы Черных и Белых, его изгнание, странствования и смерть на чужбине. Живее же всего описал я полет освобожденной души Данте, взиравшей с высоты на землю и ее пропасти. Для этого описания я воспользовался кое-какими чертами из его же бессмертного творения: я описывал, как чистилище (такое, каким описывал его сам Данте) открылось, как показалось чудесное дерево, обремененное великолепными плодами и орошаемое вечно шумящим водопадом, как сам Данте несся в челноке, окрыленном вместо парусов большими белыми крылами ангелов, как содрогались окружающие горы и как очистившиеся души возносились на небо, где и солнце, и все ангелы служили только как бы зеркалами, отражавшими сияние вечного Бога, где все одинаково блаженны:

каждая душа, какую бы ступень — высшую или низшую ни занимала, вмещала в себе столько блаженства, сколько в силах была вместить.

Бернардо прослушал мое стихотворение и признал его мастерским.

— Антонио! — сказал он. — Прочти его на празднестве! То-то разозлится Аббас Дада! Чудо! Да, да, непременно прочти это, а не что-нибудь другое!

Я отрицательно покачал головой.

— Что же? — продолжал он. — Ты не хочешь! Так я прочту! Уж накажу же я Аббаса Дада за бессмертного Данте! Милый Антонио, отдай мне твои стихи! Я прочту их. Но тогда надо выдать их за мои! Ну, откажись же от своих великолепных перьев и укрась ими галку! Ты ведь такой услужливый, а тут тебе как раз представляется случай заявить себя с самой лучшей стороны! Ты ведь согласен, да?

Мне самому так хотелось услужить ему и сыграть эту штуку с Аббасом Дада, что меня не пришлось долго уговаривать.

В то время в Иезуитской коллегии существовал еще обычай, который и доныне соблюдается в Пропаганде⁹: 13 января — «in onore

⁹ В 1622 г. Григорием XV основана в Риме «конгрегация для пропаганды веры» из кардиналов и прелатов для

dei sancti re magi» — большинство воспитанников публично декламировали свои собственные стихотворения на одном из преподававшихся в заведении иностранных языков или на своем родном. Тему мы избирали сами, но затем она проходила через цензуру наших учителей, от которых уже и зависело разрешить нам разработку ее.

— А вы, Бернардо, — сказал ему Аббас Дада в день выбора тем, — конечно, ничего не выбрали? Вы не принадлежите к числу певчих птиц! Вас можно пропустить.

— О нет! — последовал ответ. — На этот раз и я осмелюсь выступить! Мне вздумалось воспеть одного из наших поэтов, конечно, не из самых великих, — на это я не решаюсь, — но я остановился на одном из менее выдающихся, на Данте!

— Эге! — отозвался Аббас Дада. — Он тоже собирается выступить, да еще с Данте! То-то выйдет шедевр! Послушал бы я его! Но так как на торжество соберутся все кардиналы и иностранцы со всех концов света, то лучше будет отложить эту

распространения римско-католического вероисповедания и уничтожения ересей. С нею соединено основанное Урбаном VI «Collegium Sen Seminarium de propaganda fide» — учреждение для образования миссионеров.

потеху до карнавала! — И он пропустил в списке Бернардо, но этот не так-то легко позволил себя похерить и добился позволения от других учителей. Итак, каждый выбрал себе тему; я решил воспеть красоту Италии.

Каждый, конечно, должен был разработать свою тему сам, но ничем нельзя было так подкупить Аббаса Дада и вызвать что-то вроде солнечного луча на его пасмурном лице, как представив ему свои стихи на просмотр и попросив у него совета и помощи. Обыкновенно он и переделывал все стихотворение сплошь: там вставит заплатку, там поправит — глядь, стихотворение-то хоть и осталось по-прежнему плохим, да зато на другой лад. Случись же кому-нибудь из посторонних похвалить стихотворение, Аббас Дада умел дать понять, что это он украсил стихи блестками своего остроумия, сгладил шероховатости и т. д.

Моего стихотворения о Данте, которое Бернардо собирался выдать за свое, Аббасу Дада, конечно, не пришлось просматривать.

День настал. К воротам то и дело подъезжали экипажи; старые кардиналы в красных плащах с длинными шлейфами входили и занимали места в роскошных креслах; всем были розданы афиши с нашими именами и обозначением языков, на каких будут произнесены стихотворения. Аббас Дада

сказал вступительную речь, и затем началось декламирование стихотворений на сирийском, халдейском, коптском, даже на санскрите, английском и других редкостных языках. Чем удивительнее и незнакомее был язык, тем сильнее раздавались рукоплескания и крики «браво» вперемешку с искренним смехом.

С трепетом выступил я и продекламировал несколько строф в честь Италии. Дружным «браво» приветствовало их все собрание; старые кардиналы рукоплескали, а Аббас Дада улыбался так ласково, как только мог, и пророчески вертел в руках лавровый венок, — из итальянских стихотворений оставалось непрочитанным только произведение Бернардо да одно английское, которое тоже навряд ли могло рассчитывать на награду. Но вот на кафедру вошел Бернардо. Я с беспокойством следил за ним и взором, и слухом. Смело и гордо начал он декламировать мои стихи о Данте; в зале воцарилось глубокое молчание. Все, казалось, были поражены удивительной силой его декламации. Я сам знал каждое словечко, и все-таки мне казалось, что я слышу крылатую песнь поэта, несущуюся к небу. Когда Бернардо кончил, его приветствовал взрыв восторга. Кардиналы встали с мест, как будто все уж было кончено; венок был присужден Бернардо; следующее стихотворение прослушали только ради порядка, поаплодировали чтецу, и

затем все опять принялись восхищаться красотой и вдохновенностью стихотворения о Данте.

Щеки мои горели, как огонь, грудь волновалась, я не помнил себя от радости, душа моя упивалась фимиамом, который воскуряли Бернардо. Но, взглянув на него, я заметил, что на нем лица нет: он стоял смертельно бледный, с опущенными глазами, похожий на преступника, это он-то, он, всегда так смело глядевший в глаза всем. Аббас Дада тоже представлял жалкую фигуру и, казалось, собирался разорвать венки. Но один из кардиналов взял его и возложил на голову Бернардо, который преклонил колени, закрывая лицо руками.

Когда празднество окончилось, я отыскивал Бернардо, но он крикнул мне: «Завтра, завтра!» — и вырвался от меня.

На следующий день я заметил, что он просто избегает меня; меня это огорчило — я искренно привязался к нему; душа моя искала привязанности и избрала предметом ее Бернардо.

Прошло два вечера; на третий он бросился ко мне на шею, пожал мне руку и сказал:

— Антонио! Надо мне объясниться с тобой, я не могу больше терпеть! Да и не хочу! Венки, который возложили на меня, колот мою голову, точно терновый! Похвалы звучали насмешкой! Тебе ведь принадлежала вся честь! Я видел, что твои глаза блестели радостью, и знаешь? Я возненавидел

тебя! Да, я отношусь к тебе уже не по-прежнему. Это дурно, и я прошу у тебя прощения! Но мы должны расстаться! Тут мне вообще не житье! Я хочу вырваться отсюда! Не хочу на будущий год, когда чужие перья уже не будут украшать меня, служить посмешищем для других! Дядя пристроит меня. Он должен это сделать! Я уже объявил ему свое желание! Я даже унился до просьбы! И... и мне сдается, что во всем виноват ты! Я ожесточен против тебя, и это меня мучает!.. Только при иных обстоятельствах можем мы опять стать друзьями!.. И мы будем друзьями, обещай мне это, Антонио!

— Ты несправедлив ко мне! — сказал я. — Несправедлив и к самому себе. Бросим и думать об этих дурацких стихах и обо всей этой истории! Дай мне руку, Бернардо, и не огорчай меня такими странными словами!

— Мы навсегда останемся друзьями! — сказал он и ушел. Вернулся он в коллегию только поздно вечером и прямо прошел в спальню, а на следующее утро все узнали, что он выходит из школы, избирает другую дорогу!

— Он промелькнул, как метеор! — иронически говорил о нем Аббас Дада. — Блеснул и исчез! И он сам, и стихотворение его один пустой треск! Я нарочно сохранил это сокровище! Но что оно такое, в сущности, если разобрать его хорошенько? Пресвятая Мадонна! Разве это поэзия!

Вертится себе вокруг да около — ни формы, ни образности! Сперва я было думал, что оно изображает вазу, потом — французскую рюмку или индийскую саблю, но, как ни вертел, как ни поворачивал его, выходила все та же бессмысленная форма реестра! В трех местах у него встречается лишний слог, попадаются ужаснейшие зияния, и двадцать пять раз повторяется слово «divina», как будто через это и само стихотворение может стать «divina»! Чувство, чувство! Не оно показывает истинного поэта! Что значит и вся эта игра воображения? Одно метание туда и сюда! Сила и не в мысли даже, а в рассудочности, уравновешенности, в золотой уравновешенности! Поэт не должен увлекаться своей темой! Он должен оставаться холодным как лед; он должен рассечь свое детище на части и каждую часть рассмотреть отдельно! Только таким образом можно создать истинно художественное произведение! Вся же эта горячка, скороспелость и восторженность — ни к чему! И этакого-то мальчишку венчают лаврами! Розгами бы его следовало за его исторические промахи, за «зияния» и за убожество формы!.. Я, однако, рассердился, а мне это вредно! Противный Бернардо!

Вот приблизительно какой похвальной речью почтил Аббас Дада Бернардо.

Глава VIII. Приятная и неприятная встречи. Маленькая игуменья. Старый еврей

Всем нам недоставало веселого сорвиголовы Бернардо, но никто не скучал о нем больше меня. Я ощущал вокруг себя какую-то пустоту; одних книг мне было мало; гармония моей души расстроилась, я не мог совладать с ее диссонансами. Одна музыка еще умиротворяла меня на мгновения: уносясь в этот мир звуков, я опять ясно сознавал и смысл, и цель моей жизни; звуки действовали на меня сильнее, нежели какой бы то ни был поэт, даже сам Данте. Они давали пищу не только мысли и чувству, но и слуху, и я лучше постигал заключавшиеся в них духовные образы. В звуках молитвы, которую пели каждый вечер перед образом Мадонны дети, воскресало передо мною мое собственное детство; в заунывных звуках пастушеской волынки слышалась мне колыбельная песня; монотонное пение закутанных лиц, сопровождавших какое-нибудь погребальное шествие, напоминало мне похороны моей матери. Я начинал размышлять о прошедшем и будущем, сердце мое как-то странно сжималось, мне хотелось петь, старые мелодии так и звучали у меня в ушах, и слова громко, даже чересчур громко лились из моих уст. Пение мое беспокоило Аббаса Дада, хотя

он и занимал довольно отдаленную комнату, и он приказывал передать мне, что тут не опера и не школа пения, что в Иезуитской коллегии не желают слышать никаких арий, кроме тех, что раздаются в честь Мадонны. И вот мне приходилось молчать. Молчаливый и грустный стоял я раз, прислонившись головой к косяку окна, устремив взор на улицу и думая свою думу. «Fellisima notte, Antonio¹⁰», — вдруг донеслось до меня с улицы. Под окном гарцевал всадник на прекрасном борзom коне; проделав несколько смелых эволюции, он дал коню шпоры и помчался дальше. На нем был мундир офицера папской гвардии; ловко и гибко поворачивался он на лошади, кланяясь мне до тех пор, пока совсем не скрылся из виду. Я узнал его; это был Бернардо, счастливый Бернардо! Как не похожа его жизнь на мою! Нет, прочь эти мысли! Я надвинул шляпу на лоб и, словно преследуемый злым духом, пустился куда глаза глядят. Я совсем и забыл правило, воспрещавшее воспитанникам Иезуитской коллегии, Пропagанды и других учебных заведений папской столицы показываться на улице без провожатого — старшего товарища или хоть ровесника. Для одинокой прогулки требовалось специальное разрешение. Нам,

¹⁰ Счастливой ночи, Антонио!

впрочем, как-то не внушали этого правила, так что я и не подозревал ни о каком ограничении моей свободы и спокойно вышел за ворота. Старый дядька пропустил меня, полагая, вероятно, что я имею на то разрешение. На Корсо теснились экипажи, переполненные римлянами и иностранцами; один ряд двигался в одну сторону, другой в другую; был час обычной вечерней прогулки. Народ толпился перед гравюрами, выставленными в эстампном магазине; нищие приставали к прохожим, прося милостыню; продвигаться вперед можно было только с трудом, да и то не иначе как пробираясь между самыми экипажами. Я благополучно лавировал между ними, как вдруг меня схватила за платье чья-то рука и знакомый мне отвратительный голос прохрипел: «*Von giorno, Antonio!*» Я оглянулся — на тротуаре сидел мой дядя, ужасный дядюшка Пеппо со своими сведенными набок сухими ногами и деревянными дощечками на руках. Уже много лет не встречался я с ним так близко лицом к лицу: я всегда делал большой обход вокруг Испанской лестницы, чтобы избежать встречи с ним, а проходя мимо нее в процессии или вместе с другими воспитанниками, тщательно скрывал свое лицо.

— Антонио, мой родной! — говорил Пеппо, держа меня за полу. — Ты разве не узнаешь своего

дядю Пеппо? Вспомни святого Иосифа¹¹, вот вспомнишь и мое имя. Как же ты вырос и возмужал!

— Пусти меня! — закричал я, видя, что люди смотрят на нас.

— Антонио! — продолжал он. — Помнишь, как мы ехали с тобою на ослике. Милый мой мальчик! Да, теперь ты залетел высоко и знать не хочешь своего бедного дядю! Никогда не наведишь меня на лестнице! А ведь когда-то ты целовал у меня руку, спал у меня на соломе! Не будь же неблагодарным, Антонио!

— Да пусти же! — закричал я, вырвался от него, шмыгнул между экипажами и перебрался на другую сторону улицы. Сердце мое колотилось от страха и от — признаться ли? — от оскорбленной гордости. Мне казалось, что все люди, видевшие эту встречу, почувствовали ко мне презрение. Но я недолго находился в этом настроении, скоро оно сменялось другим, более горьким. Ведь Пеппо говорил одну правду, я был сыном его единственной сестры! Я сознавал всю жестокость своего поступка, мне было стыдно и перед Богом, и перед самим собою; раскаяние жгло меня. Очутись

¹¹ Пеппо — уменьшительное имя от имени Джузеппе, т. е. Иосиф

я теперь наедине с Пеппо, я бы расцеловал его безобразные руки и попросил у него прощения. Я был глубоко взволнован.

В церкви святого Августина зазвонили к «Ave Maria»; грех мой тяготил мне душу, и я зашел в храм помолиться Божьей Матери. Мрачно, пустынно было под высокими сводами; тускло горели на алтарях свечи, мерцая, как трут ночью, когда дует влажный сирокко. Душа моя мало-помалу прониклась отрадным чувством облегчения.

— Синьор Антонио! — раздался позади меня чей-то голос. — Eccellenza вернулся и прекрасная синьора тоже. Они приехали из Флоренции и привезли с собою своего ангелочка. Не хотите ли сейчас же отправиться навестить их?

Со мной говорила старая Фенелла, жена привратника, служившего в палаццо Боргезе. Моя благодетельница прибыла сюда с мужем и ребенком. Я не видел их вот уж несколько лет, очень обрадовался этому известию и поспешил в палаццо повидаться с дорогими мне людьми.

Фабиани обошелся со мною очень благосклонно и ласково, Франческа встретила меня с чисто материнской радостью и вынесла ко мне свою маленькую дочку, Фламинию, милого ребенка с удивительно ясным, светлым взором. Малютка сейчас же протянула мне губки для поцелуя, охотно

пошла ко мне на руки, и не прошло и двух минут, как мы с нею были уже старыми знакомыми и друзьями. Она сидела у меня на руках и громко смеялась, а я плясал с нею по зале, напевая одну из своих любимых веселых старинных песенок.

— Не зарази мою маленькую игуменью ¹² светской суетой! — смеясь, сказал Фабиани. — Не видишь разве, она уже носит знак своего достоинства? — И он указал мне на серебряный крестик с распятием, прикрепленный к бантику, красовавшемуся на груди малютки. — Сам святой отец дал ей его; она давно уже носит у сердца образ своего Небесного жениха!

Счастливые супруги обещали посвятить свое первое дитя Богу, и папа подарил малютке на зубок святой знак. Ей, как родственнице знатной фамилии Боргезе, было открыто первое место в Римском женском монастыре, вот почему все окружающие уже и звали ее почетным именем маленькой игуменьи. Рассказы, игры, все, чем ее забавляли, было приноровлено к тому, чтобы укрепить в ней представление о мире, которому она, собственно,

¹² Среди итальянской знати исстари существует обычай предназначать одну из дочерей Богу, и ее уже с самого раннего детства зовут каким-нибудь почетным именем, вроде невесты Иисуса, игуменьи, монахини и т. п.

принадлежала, и о счастье, которое ее ожидало.

Малютка показала мне своего младенца Иисуса и маленьких, одетых в белые платья монашенок, которые ежедневно ходили к обедне, расставила их в два ряда на столе, как учила ее няня, и рассказала мне, как хорошо они поют и молятся прекрасному младенцу Иисусу. Я же принялся рисовать ей веселых крестьян, одетых в длинные шерстяные блузы и плясавших вокруг каменных тритонов бассейна, пульчинелей, сидевших друг у друга на горбах, и эти новые картинки несказанно позабавили малютку. Она нежно целовала их, а потом, в порыве шалости, рвала в клочки, и мне приходилось рисовать ей все новые и новые, пока, наконец, за нею не явилась нянька: маленькой игуменье пора было спать; она и то уж засиделась сегодня дольше обыкновенного.

Фабиани и Франческа расспрашивали меня о моем житье-бытье в школе, осведомлялись, здоров ли я и доволен ли, обещали мне свое покровительство и желали мне всякого счастья.

— Мы должны видеться ежедневно! — прибавила Франческа. — Смотри навещай нас, пока мы здесь!

Спросила она и о старой Доменике, и я рассказал, как радуется старушка моим редким посещениям весною или осенью, как жарит для меня каштаны, и словно молодеет, вспоминая то

время, когда мы жили вместе, как всякий раз водит меня взглянуть на уголок, где я спал, и показывает мне нацарапанные мною когда-то рисунки, которые она хранит у себя вместе с четками и старым молитвенником.

— Как он смешно кланяется! — сказала Франческа мужу, когда я стал прощаться. — Хорошо, конечно, заботиться об образовании ума, но не надо пренебрегать и манерами! На это обращают в свете большое внимание. Но, конечно, это все придет со временем! Правда, Антонио?

И она, улыбаясь, протянула мне для поцелуя руку.

Было еще не поздно, но уже совсем темно, когда я опять очутился на улице. В то время на улицах Рима еще не было фонарей; они, как известно, введены лишь в последние годы. Узкие, неровные улицы освещались только лампадами, горевшими на перекрестках перед образами Мадонны. Приходилось подвигаться вперед ощупью, и я шел очень медленно, весь погруженный в мысли о событиях нынешнего дня.

Вдруг моя протянутая вперед рука наткнулась на кого-то.

— Черт возьми! — послышался знакомый голос. — Не выколи мне глаз! И без того мало вижу, а тогда и вовсе ослепну!

— Бернардо! — радостно воскликнул я. —

Так мы все-таки встретились с тобою!

— Антонио! Милый Антонио! — вскричал он и схватил меня под руку. — Вот забавная встреча! Откуда ты? С маленького приключения? Не ожидал! Вот ты и пойман на запретном пути! Где ж твой провожатый, чичисбей или как там зовут твоего верного спутника?

— Я один! — ответил я.

— Один! — повторил он. — Да ты, в сущности, ловкий парень! Тебе следовало бы поступить в папскую гвардию, тогда, может быть, нам и удалось бы как следует расшевелить тебя!

Я рассказал ему вкратце о возвращении Eccellenza и синьоры и выразил ему свою радость по поводу нашей встречи. Он был рад не меньше моего; мы больше и не думали о темноте, а шли себе да шли вперед, даже не замечая за разговорами — куда.

— Видишь ли, Антонио, — говорил он, — теперь только я узнал, что такое жизнь. Ты же ее совсем не знаешь! Она слишком хороша, чтобы можно было просидеть ее на жесткой школьной скамье, слушая воркотню Аббаса Дада! Теперь я умею править конем! Ты видел меня сегодня? И красавицы синьоры посылают мне такие жгучие взгляды!.. Я ведь парень красивый, и мундир идет ко мне! Эта дьявольская темнота мешает тебе разглядеть меня! Мои новые товарищи просветили

меня! Они не такие сидни, как вы! Мы осушаем кубки в честь государства, заводим порою и маленькие интрижки, но не твоим ушам слушать о них, святоша! Да, плохой ты мужчина, Антонио! Я же в эти несколько месяцев набрался опыта за десять лет! Теперь я чувствую, что молод, кровь во мне кипит, сердце бьется, и я пью из чаши наслаждения большими глотками, пока губы мои еще горят и я ощущаю эту жгучую жажду!

— Ты попал в нехорошую компанию, Бернардо! — сказал я.

— В нехорошую! — произнес он. — Не читай мне, пожалуйста, нравоучения! Чем моя компания не хороша? Товарищи мои все истые римские патриции! Мы составляем почетную стражу святого отца, и его благословение очищает нас от наших маленьких грешков. В первое время по выходе из коллегии я тоже еще был заражен этими монастырскими понятиями, но я тоже не дурак — не дал моим новым товарищам заметить этого! Я последовал их примеру! Моя плоть, моя кровь, все мое существо жаждало жизни, и я не противился этому влечению, оно было сильнее меня! Сначала-то, впрочем, в глубине моей души все еще раздавался какой-то неприятный голос. Это бунтовали моя монастырская закваска и ребячество, говорившие мне: «Ах, ты уже не невинный ребенок теперь!» Но потом я стал только смеяться над этим

голосом — поумнел! Теперь я — взрослый человек! Ребенку пришлось уступить место мужчине, вот этот-то ребенок и плакал во мне!.. Но мы как раз у Киавика! Это лучшая остерия, где собираются художники. Зайдем туда распить бутылочку по случаю нашей приятной встречи. Зайдем, там превесело!

— Что ты! — сказал я. — А если в коллегии узнают, что я был в остерии вместе с офицером папской гвардии?!

— Большая, в самом деле, беда — выпить стакан вина и послушать, как иностранцы-художники поют песни на своем родном — немецком, французском, английском и Бог знает каком там еще языке! Тут превесело, даю тебе слово!

— То, что можно тебе, не дозволено мне! И не уговаривай меня лучше! — Тут я слышал невдалеке смех и крики «браво» и ухватился за это обстоятельство, чтобы перевести разговор на другое. — Смотри, какая там толпа! Что случилось? Право, кажется, они затеяли какие-то фокусы прямо перед образом Мадонны! — И мы направились туда.

Парни и мальчишки из черни загородили всю улицу, окружая какого-то старого еврея; слышно было, как его понуждали перепрыгнуть через палку, которую держал пред ним один из парней.

Известно, что в Риме, столице христианского мира, евреям позволено жить лишь в отведенном им квартале, узком, грязном гетто. Каждый вечер ворота гетто закрываются, к ним ставится стража, и уж ни в ворота, ни из ворот не впускается и не выпускается никто. Ежегодно старейшины еврейские являются в Капитолий и на коленях молят о даровании им позволения остаться в Риме еще на год. В благодарность же обязуются взять на себя все издержки по бегу лошадей на Корсо во время карнавала и явиться в известный день к католической обедне, чтобы выслушать проповедь обращения.

Старик, который стоял перед нами, проходил один впотьмах по узкой улице мимо толпы играющих парней и мальчишек.

— Глядите, жид! — закричал один, и все принялись насмехаться над стариком. Он было хотел молча пройти мимо, но парни загородили ему дорогу, и один из них, толстый, широкоплечий малый, протянул перед ним длинную палку и закричал:

— Ну, жид, прыгай, не то гетто закроют, и ты не попадешь на ночь домой... Ну, покажи же свою ловкость!

— Прыгай, жид! — кричали мальчишки. — Бог Авраама поможет тебе!

— Что я вам сделал? — спрашивал он. —

Пустите меня, старика, идти своею дорогой, не смейтесь над моими сединами, да еще перед образом Той, Которую вы сами молитесь о милосердии!

— Ты думаешь, Мадонне есть дело до жидов? — сказал парень. — Ну, прыгнешь ли ты, старая собака? — И он показал ему кулак, а мальчишки стали напирать на него.

Тут Бернардо бросился вперед, оттолкнул ближайших, в одно мгновение выхватил у парня палку, замахнулся на него саблей и, держа перед ним ту же самую палку, вскричал громовым голосом:

— Прыгай-ка сам, или я расшибу тебе башку! Да живо! Или, клянусь всеми святыми, я раскрою тебе череп!

Парень словно с облаков упал; все остальные тоже остолбенели: громовой звук голоса, обнаженная сабля и офицерский гвардейский мундир — все это как бы наэлектризовало парня, и он, не говоря ни слова, перепрыгнул через палку, которую только что подставлял бедному еврею. Вся толпа была поражена не меньше его, никто не смел пикнуть; все только удивленно глазели на происходившее. Едва парень перепрыгнул через палку, Бернардо схватил его за плечо, погладил по щеке саблею плашмя и закричал:

— Bravo, пес! Отлично! Еще разок! И тогда, я

думаю, будет с тебя этих собачьих фокусов!

Парню пришлось опять прыгнуть, и толпа, проникшись смешною стороной дела, принялась кричать «браво» и хлопать в ладоши.

— Где ты, еврей? — спросил Бернардо. — Иди, я провожу тебя! — Но старик уже успел скрыться; никто не отозвался.

— Пойдем! — сказал я Бернардо, когда мы вышли из толпы. — Пойдем, и пусть говорят, что хотят, а я разопью с тобой бутылку вина! Я хочу выпить за твое здоровье! Мы останемся друзьями, чтобы там ни произошло между нами!

— Дурень ты, Антонио! — ответил он. — Да и я хорош! Стоило сердиться на грубого парня! Но, я думаю, он теперь не скоро заставит кого-нибудь прыгать!

Мы зашли в остерию; никто из веселой компании не обратил на нас внимания. Мы сели за маленький столик в углу, велели подать себе бутылку вина и принялись пить за нашу удачную встречу и возобновленную дружбу. Потом мы расстались. Я вернулся в коллегию; старый дядька, мой добрый покровитель, осторожно впустил меня. Скоро я заснул и видел во сне разнообразные приключения этого вечера.

Глава IX. Еврейка

Меня очень беспокоила моя вечерняя самовольная отлучка и посещение остерии, где я вдобавок распивал с Бернардо вино, но случай мне благоприятствовал: никто не хватился меня, а может быть, и хватились, да, как и старый дядька, полагали, что я получил разрешение. Я ведь считался в высшей степени скромным и добросовестным юношей. Дни медленно шли, за ними шли и недели; я прилежно учился и время от времени посещал свою благотельницу; посещения эти служили мне лучшим поощрением. Маленькая игуменья день ото дня становилась мне все милее; я приносил малютке картинки, нарисованные мною еще в детстве, и она, поиграв с ними, рвала их в клочки и сорила по полу, а я подбирал и прятал.

В то же время я читал Вергилия; шестая книга, где описывается странствование Энея по преисподней, особенно интересовала меня своим сходством с Данте. Я вспоминал, читая ее, и мое стихотворение о Данте, и Бернардо. Я давно уже не видел своего друга и успел сильно соскучиться по нем. Был как раз один из тех дней недели, в которые ватиканские художественные галереи открыты для публики, и я попросил позволения сходить туда посмотреть мраморных богов и чудные картины; настоящей же целью моей было — встретить там моего дорогого Бернардо.

И вот я очутился в огромной открытой галерее, где находится лучший бюст Рафаэля и где весь потолок покрыт великолепными фресками, выполненными по наброскам великого мастера его учениками. Для меня уже не были новостью все эти причудливые арабески и легионы коленопреклоненных и парящих в небесах ангелов; если же я и медлил здесь, делая вид, что рассматриваю их, то лишь в надежде на счастливый случай — на встречу с Бернардо. Я прислонился к каменной балюстраде и принялся любоваться роскошными очертаниями гор, волнообразной линией окружавших Кампанью, не забывая в то же время поглядывать на двор Ватикана всякий раз, как о каменные плиты его звенела чья-нибудь сабля, — не Бернардо ли? Но он не показывался.

Тщетно бродил я по залам, останавливался и перед Нильской группой, и перед Лаокооном — толку все не было; мне стало досадно и скучно. Бернардо не являлся, и мне было уж все равно, вернуться ли домой или продолжать разглядывать древние торсы и Антиноя.

Вдруг по коридору промелькнула легкая тень в каске с развевающимся султаном, послышалось бряцанье шпор... Я вдогонку — то был Бернардо! Он обрадовался нашей встрече не меньше меня и поспешно увлек меня за собою: ему надо было сообщить мне тысячу вещей.

— Ты не знаешь, сколько я выстрадал! Да и теперь еще страдаю! Будь моим доктором! Ты один можешь помочь мне своими волшебными травами!

И, говоря это, он повел меня через большую залу, где стояли на часах папские гвардейцы, в большой покой, отведенный дежурному офицеру.

— Надеюсь, ты не болен? — спросил я. — Этого не может быть! Твои глаза, твои щеки так и горят!

— Да, они горят! — ответил он. — Я весь горю, как в огне, но теперь все пойдет хорошо. Ты моя счастливая звезда. Ты предвещаешь мне счастливое приключение, внушаешь добрые идеи! Ты поможешь мне! Сядь же! Ты не знаешь, что я пережил с нашей последней встречи! Тебе я доверюсь, ты верный друг и сам примешь участие в моем приключении!

Он не давал мне вымолвить ни слова, говоря без умолку о том, что так волновало его.

— Помнишь ты еврея? — продолжал он. — Старика еврея, того, что мальчишки заставляли прыгать? Он еще удрал тогда, даже не сказав спасибо за мою рыцарскую помощь! Я-то скоро забыл его и всю эту историю, но вот несколько дней спустя прохожу мимо входа в гетто... Я бы и не заметил этого, если бы не часовой. Он отдал мне честь — я ведь теперь «персона», — я ответил ему и случайно увидел за воротами целую толпу

чернооких красавиц евреек. Ну, понятно, мне захотелось пройтись разок по этой узкой, грязной улице. Там настоящая синагога! Дома один возле другого, высокие, точно лезут на небо! Изо всех окон слышится: «Берешит бара Элохим!» Голова на голове, словно когда эти толпы переходили через Черное море! Кругом развешаны старые платья, зонтики и другой хлам; я перепрыгивал через груды старого железа, картин и грязи. А кругом стон стоял: ко мне приставали, спрашивали, не продаю ли я, не покупаю ли... За этим содомом мне еле-еле удалось рассмотреть нескольких чернооких красоток, улыбавшихся мне из дверей. То-то было странствование, достойное пера Данте! Вдруг ко мне бросается старый еврей, кланяется мне чуть не до земли, словно самому папе, и начинает: «Eccellenza, благодетель мой, спаситель, да благословен будет час нашей встречи! Не считайте старика Ганноха неблагодарным!» И много еще чего говорил он; всего я не упомяну, да и не разобрал. Я узнал его: это был тот самый старик, которого заставляли прыгать. «Вот мое убогое жилище; но мой порог чересчур низок, я не смею просить вас переступить его», — продолжал он, целуя мне руки и платье. Я хотел было отделаться от него — неловко ведь было: все окружающие вытаращились на нас, — да вдруг увидел в окне прелестнейшую головку! Это была сама Венера из

мрамора, но с таким горячим румянцем и огненными глазами, какие бывают только у дочерей Аравии! Ну, понятно, я последовал за евреем — он ведь пригласил меня! Пришлось пройти узкий темный коридор, похожий на тот, что ведет в могилу Сципионов; каменная же лестница и чудесная деревянная галерея годились как раз для того, чтобы выучить людей ходить с оглядкой. Зато в самом помещении было не так дурно; недоставало только девушки, а для чего же я и зашел туда! Мне еще раз пришлось выслушать длинную благодарственную речь, уснащенную восточными эпитетами и картинками. Тебе, такой поэтической натуре, она, наверное, пришлась бы по вкусу! Но я пропустил ее мимо ушей и все ждал, что вот-вот войдет она, но она не входила. Зато еврею пришла в голову мысль, которая при иных обстоятельствах была бы, пожалуй, очень и очень недурна. Он заявил, что я, как светский молодой человек, вероятно, должен тратить много денег, а также и чувствовать в них иногда недостаток, заставляющий меня прибегать к помощи сострадательных душ, готовых по-христиански выручить ближнего — за двадцать, тридцать процентов! А вот он — подумай, вот чудо-то в еврейском царстве! — готов снабжать меня деньгами совсем без процентов! Слышишь? Без процентов?! Я ведь такой благородный человек, и

он полагается на мою честность! Я защитил отпрыска еврейского древа, и сучья его не станут рвать моей одежды! Но так как я не нуждался в деньгах, то и не взял их. Тогда он спросил, не соблаговолю ли я отведать его вина, у него есть одна особенная бутылочка! Не знаю, что я ответил, знаю только, что в комнату вошла моя красавица. Что за формы, что за колорит!.. Волосы черные как смоль, как эбеновое дерево!.. Она поднесла мне превосходного кипрского вина, и царская кровь Соломона бросилась ей в щеки, когда я осушил стакан за ее здоровье. Послушал бы ты, как она благодарила меня за своего отца! А право, и благодарить-то было не за что! Речь ее звучала для меня небесной музыкой. Нет, положительно передо мною было неземное существо! Затем она исчезла, и со мною остался один старик.

— Да это точно поэма! — сказал я. — Превосходная тема для поэмы!

— Ты не знаешь, как я мучился потом, как строил разные планы, разрушал их и опять строил — все, чтобы встретить опять эту дочь Сиона! Подумай, я даже унизился до того, что пошел и попросил у старика займы, в чем вовсе не нуждался. Я занял у него двадцать блестящих скудо на неделю, но ее не видел. На третий день я принес ему деньги нетронутые, и старик с улыбкой потер руки. Он, пожалуй, не очень-то все-таки доверял

моей хваленой честности. Я стал выхвалять его кипрское вино, но на этот раз не она угостила меня! Он сам налил и поднес мне стакан своими худыми трясущимися руками. Мои глаза обежали все углы — ее не было нигде. Она так и не показалась; только уже спускаясь с лестницы, я заметил, что занавеска открытого окна шевелится. Должно быть, за занавеской притаилась она! Я крикнул: «До свиданья, синьора!» — но никто не отозвался, никто не показался. И вот я до сих пор не подвинулся в моем приключении ни на шаг! Дай же мне совет! Я не могу отказаться от нее, да и не хочу! Но что же я могу сделать?... Слушай же, душа моя, какая явилась у меня теперь блестящая идея! Будь моею Венерой, которая свела в потаенном гроте Энея с ливийской царицей!

— Чего ты хочешь от меня? Не знаю, что я вообще могу сделать для тебя.

— Все, если только захочешь! Еврейский язык — чудный язык, поэтический, образный! Тебе надо взяться за изучение его и пригласить учителем старого еврея! Заплачу за все я! Ты пригласишь именно старого Ганноха — я узнал, что он принадлежит к ученым. Когда же ты покоришь своей внушающей доверие особой его самого, ты познакомишься и с дочерью, и тогда возьмешься помогать мне! Но живо, с места в карьер! В крови моей разлит жгучий яд любви! Сегодня же иди к

еврею!

— Нет, не могу! — ответил я. — Ты совсем не входишь в мое положение. Какую роль придется играть во всем этом деле мне? И как можешь ты, милый Бернардо, унизиться до любовной связи с еврейкой?

— О, ты тут ровно ничего не понимаешь! — прервал он меня. — Еврейка ли, нет ли — безразлично, лишь бы товар был хорош. Ну же, благословенный младенец, мой милый, бесценный Антонио, возмись за еврейский язык! Мы оба будем изучать его, только на разные лады! Будь же благоразумен и подумай, как ты можешь осчастливить меня!

— Ты знаешь, — сказал я, — как искренно я привязан к тебе! Знаешь, как действует на меня твоя сила воли! Будь ты дурным человеком, ты мог бы испортить меня, меня так и тянет в твой магический круг! Я не сужу тебя по себе — каждый следует влечениям своей природы — и не считаю также грехом твоей манеры наслаждаться жизнью! Что ж, раз ты создан так, а не иначе! Но сам-то я держусь совсем иных правил! Не уговаривай же меня принять участие в твоей интрижке, которая если даже и удастся, не доставит тебе истинного счастья!

— Ладно, ладно! — перебил он, и я заметил в его взоре то же холодное, гордое выражение, с

каким он, бывало, уступал Аббасу Дада, когда тот, в силу своего положения, заставлял его молчать. — Ладно, Антонио! Я ведь пошутил только! Тебе не придется из-за меня бегать лишний раз исповедоваться! Но какой грех в том, что ты стал бы учиться еврейскому языку, и именно у моего еврея, — я понять не могу! Впрочем, ни слова больше об этом!.. Спасибо за посещение! Хочешь закусить? Или выпить? Сделай одолжение!

Я был расстроен; в тоне его голоса, в манерах так и звучала обида. Мое горячее пожатие руки было встречено с холодной, ледящей вежливостью. Расстроенный и огорченный, я скоро ушел от него.

Я чувствовал его неправоту и сознавал, что сам поступил как должно, и все-таки в иные минуты мне сдавалось, что я как будто обидел Бернардо. Так, борясь сам с собою, зашел я в еврейский квартал, надеясь, что моя счастливая звезда выручит меня, послав мне здесь какое-нибудь приключение, которое послужит на пользу моему дорогому Бернардо; но мне не удалось встретить даже старика еврея. Из всех окон и дверей выглядывали чужие лица; грязные ребятишки валялись на мостовой между кучами всевозможного хлама; непрерывный крик о покупке и продаже почти оглушал меня. Несколько девушек забавлялись, перекидывая друг дружке в окна

мячик; одна была довольно красива — не это ли возлюбленная Бернардо? Я невольно снял шляпу, но тут же устыдился и провел рукой по лбу, словно только жара, а не девушка, заставила меня обнажить голову.

Глава X. Карнавал. Певица

Если бы только держаться нити, связывающей мою жизнь с любовью Бернардо, то пришлось бы пропустить целый год моей жизни. А между тем год этот, несмотря на свой ровный обычный ход, представлял для меня гораздо большее значение, нежели только лишних двенадцать месяцев. Он явился как бы антрактом в драме моей жизни.

Я редко виделся с Бернардо, а при встречах находил в нем все того же веселого, бравого юношу; но относился ко мне он уже не по-прежнему. Из-под маски дружелюбия проглядывало холодное, важное равнодушие. Это расстраивало и огорчало меня, и я не решался спрашивать у него, как идут его дела.

Зато я часто посещал палаццо Боргезе, сделавшееся для меня истинно родным домом. Тем не менее Eccellenza и Франческа часто глубоко огорчали меня. Душа моя была переполнена благодарностью к ним за все, что они для меня сделали, и малейшее неодобрение их набрасывало

на мое веселое расположение духа мрачную тень. Франческа хвалила меня за мои добрые качества, но постоянно стремилась воспитывать меня: моя манера держать себя и выражаться вечно подвергалась ее строгой, слишком даже строгой критике, зачастую вызывавшей у меня, шестнадцатилетнего юноши, на глазах слезы. Сам Eccellenza, который вызвал меня из хижины Доменики в свое роскошное палаццо, относился ко мне по-прежнему сердечно, но и он тоже не уступал синьоре в желании воспитывать меня. Я не разделял его страсти к собиранию цветов и растений, и он называл это недостатком серьезности и положительности во мне, находил, что я слишком занят собственным «я», что «радиусы моего ума не пересекают великой окружности вселенной».

«Помни, сын мой, — говаривал он мне, — что листок, который свертывается вовнутрь, увядает!» Но, погорячившись немного, он трепал меня по щеке и иронически уверял, что свет, в сущности, очень дурен и что людям, как и цветам, нужно побывать под прессом для того, чтобы из них вышли хорошие экземпляры для Мадонны! Фабиани же смотрел на все с веселой точки зрения, смеялся над доброжелательными проповедями жены и Eccellenza и уверял, что мне никогда не достигнуть ни учености Eccellenza, ни остроумия Франчески, но что из меня выйдет третий сорт

человека, тоже не из последних! Потом он призывал свою маленькую игуменью, и с нею я скоро забывал все свои маленькие огорчения.

Следующий год они собирались провести в Северной Италии: лето в Генуе, а зиму в Милане. Мне же предстояло в этот год сделать важный шаг — сдать экзамен на аббата и, таким образом, занять более высокую ступень общественного положения.

Перед отъездом моих покровителей в палаццо Боргезе дан был большой бал, на который пригласили и меня. Палаццо было окружено как бы огненным смоляным венком: все факелы, которые несли перед экипажами гостей, были воткнуты в железные канделябры, прикрепленные к наружной стене дома, и образовывали каскады огня. Перед воротами разъезжали конные папские гвардейцы. Садик весь был убран разноцветными бумажными фонариками, мраморная лестница залита огнями; аромат цветов разливался повсюду: на каждой ступени лестницы стояли вазы с цветами и небольшие апельсиновые деревца. К дверям был приставлен почетный караул; толпы разодетых слуг сновали взад и вперед. Франческа была ослепительно хороша в белом атласном платье, отделанном дорогими кружевами; на голове же у нее красовалось роскошное перо райской птицы; блестящий наряд удивительно шел к ней, но особенно пленила она меня тем, что так ласково

протянула мне руку. В двух залах шли под звуки оркестров танцы. В числе танцующих был и Бернардо. Как он был хорош! Красный, вышитый золотом мундир, узкие белые брюки — все сидело на нем восхитительно и обрисовывало его стройные формы. Он танцевал с царицей бала, и она любовно и доверчиво улыбалась ему. Как мне было досадно, что я не мог танцевать. Никто не обращал на меня внимания. В самом близком, почти родном мне доме я чувствовал себя чужим, но Бернардо дружески протянул мне руку, и уныние мое как рукой сняло. Мы скрылись с ним в оконную нишу, за длинные красные занавеси, и стали пить пенящееся шампанское. Он дружески чокнулся со мною; чудные мелодии лились нам прямо в душу, и дружба наша воскресла с прежней силой! Я даже не побоялся упомянуть о прекрасной еврейке; Бернардо громко расхохотался; казалось, он совершенно излечился от своей глубокой раны.

— Я поймал себе новую райскую птичку! — сказал он. — Она оказалась более ручной и прогнала своим пением мою хандру. Так пусть себе другая летит, куда хочет! Она и в самом деле улетела, исчезла из еврейского квартала и даже из Рима, если верить моим людям.

Мы чокнулись еще раз; шампанское и веселая музыка вдвойне разгорячили нашу кровь. Бернардо опять унесся в вихрь танцев, а я остался один, но на

душе у меня воцарилось блаженное спокойствие: мне хотелось прижать к своему сердцу весь мир! На улице перед окнами палаццо слышались радостные восклицания бедных мальчишек, которые любовались сыпавшимися от смоляных факелов искрами. Мне вспомнилось мое бедное детство: и я тогда играл так же, как они, а теперь я, в числе первых вельмож Рима, принят в этом богатом палаццо как свой! Благодарность и любовь к Божьей Матери, моей милостивой покровительнице, переполнили мою душу, колени мои сами собой подогнулись, и я стал молиться. Длинные, плотные занавеси скрывали меня от глаз остального общества. Я был бесконечно счастлив.

Ночь пролетела, за ней прошли еще два дня, и семейство Боргезе уехало из Рима. Аббас Дада ежечасно напоминал мне, что этот год принесет мне с собой имя и сан аббата. Я учился прилежно и почти не виделся с Бернардо и вообще со знакомыми. Недели шли, шли и месяцы, и вот настал день экзамена, после которого я надел черное платье и короткий шелковый плащ аббата.

Все, казалось, торжествовало вместе со мною: и высокие пинии, и только что распустившиеся анемоны, и крики на улице, и легкое облачко, скользившее по голубому небу!.. Надев черный шелковый плащ аббата, я как будто стал другим, более счастливым человеком. Франческа прислала

мне на мои нужды и удовольствия чек на сто скудо. Это привело меня в еще более радужное настроение, и я помчался на Испанскую лестницу, бросил дядюшке Пеппо блестящий скудо и быстро удалился, не слушая его криков: «Eccellenza, Eccellenza, Антонио!»

Было начало февраля; миндальные деревья уже цвели, апельсины начинали золотиться; приближался веселый карнавал, словно нарочно совпавший с моим поступлением в аббаты, чтобы достойно отпраздновать его. Трубачи-герольды, разъезжавшие на конях, с развевающимися бархатными знаменами в руках, уже возвестили о приближении празднества. Еще ни разу в жизни не приходилось мне как следует насладиться удовольствиями карнавала, всласть упиться зрелищем этого общего народного праздника, когда все — и стар, и млад, и бедный, и богатый — веселятся напропалую. Когда я был ребенком, матушка моя никогда не пускала меня в толпу, боясь, что меня задавят, и мне поэтому удавалось полюбоваться всем этим весельем только мельком, стоя с матушкой где-нибудь на углу. Во время пребывания в коллегии я видел празднество не лучше; нам, воспитанникам, разрешалось смотреть на него только с одного определенного места — с плоской крыши флигеля палаццо дель Дориа. О том же, чтобы самому принимать участие во всем,

порхать с одного конца улицы на другой, побывать в Капитолии и в Травестере, словом, где захочется, — нечего было и думать. Немудрено, что я теперь с такой жадностью бросился в этот вихрь удовольствий и радовался всему, как дитя. Я и не чаял, что тут-то как раз и наступит важнейшая эпоха моей жизни, что событие, когда-то живо занимавшее меня, вновь воскреснет, что забытое зерно, невидимкой лежавшее в моей душе, взойдет зеленым душистым ростком, который крепко обовьется вокруг дерева моей жизни.

Карнавал поглощал все мои мысли. Ранним утром я побывал на площади дель Пополо, чтобы полюбоваться приготовлениями к бегу лошадей, а вечером бродил по Корсо, рассматривая выставленные в окнах пестрые карнавальные наряды и фигуры в масках и полных костюмах. Я взял напрокат костюм адвоката, как один из наиболее веселых и забавных, и почти не спал всю эту ночь, приготавливаясь к своей новой роли.

Следующий день был для меня настоящим праздником. Я был счастлив, как дитя. В боковых улицах устраивались со своими столами и лотками продавцы конфетти¹³. Улица Корсо была чисто

¹³ Маленькие белые и красные шарики из извести или из ячменных зерен, закатанных в гипс, которыми перебрасываются во время карнавала гуляющие.

выметена; изо всех окон спускались пестрые ковры. Около трех часов, по французскому способу считать часы¹⁴, я уже был в Капитолии, чтобы впервые насладиться зрелищем начала праздника. Все балконы были переполнены знатными иностранцами; сенатор в пурпурной тоге восседал на бархатном троне; прелестные маленькие пажи в бархатных беретах с перьями стояли по левую сторону трона, впереди папской швейцарской гвардии. И вот явилась толпа еврейских старейшин; все они были с обнаженными головами и, приблизившись к трону, преклонили колени. Я узнал среднего; это был Ганнох, старый еврей, дочерью которого так интересовался Бернардо. Старик обратился к сенатору с речью, в которой просил для себя и своих единоверцев позволения остаться в Риме, в отведенном им квартале, еще на год, обещая в течение этого времени явиться раз, в назначенный день, в католическую церковь и прося позволения заплатить все издержки по бегу

¹⁴ В Италии часы считаются от захода солнца, когда сутки кончаются, и колокол звонит к «Ave Maria». Пройдет с того времени час — и часы показывают час, потом два. и так до двадцати четырех. Каждую неделю часы переставляются по солнцу на четверть часа вперед или назад. Обыкновенный же способ счисления времени итальянцы называют французским.

лошадей вместо того, чтобы, согласно древнему обычаю, самим бежать по Корсо на потеху римлян. Сенатор милостиво кивнул головой (старый обычай — ставить на плечо просителя ногу — был уже оставлен), затем сошел при звуках музыки с лестницы, сел вместе с пажами в великолепную карету и открыл карнавал. Большой колокол Капитолия зазвонил, а я бросился домой, торопясь облечься в свой адвокатский костюм. В нем я казался самому себе совсем другим человеком. Довольный выскочил я на улицу, где встретил уже целую толпу масок. Это были бедные ремесленники, которые в дни карнавала пользуются одинаковыми правами с богатейшими вельможами. Костюмы их были очень оригинальны, а стоили очень дешево. Они накинули на себя поверх обыкновенной одежды грубые балахоны, на которых вместо пуговиц были нашиты лимонные корки, на плечах и на башмаках красовались пучки салата, на головах парики из сельдерея и на носу огромные очки, вырезанные из апельсиновой корки.

Я стал угрожать им процессом, указывая им в своей книге на такие-то и такие-то статьи закона, воспрещавшие одеваться так роскошно. Затем, сопровождаемый их аплодисментами, я вышел на Корсо, превратившуюся из улицы в маскарадную залу. Изо всех окон, со всех балконов и временно устроенных возвышений для зрителей спускались

пестрые ковры. Вдоль стен домов тянулся бесконечный ряд стульев, «лучших мест для зрителей», как выкрикивали барышники. Экипажи тянулись непрерывной двойной цепью; у некоторых экипажей даже колеса были украшены лавровыми ветвями, так что самые экипажи смотрели движущимися зелеными беседками. В промежутках между ними волновалась веселая толпа людей. Все окна были заняты зрителями. Прелестные римлянки в офицерских мундирах и с намалеванными усиками на нежных губках бросали в знакомых конфетти. Я обратился к ним с речью, угрожая привлечь их к суду за то, что они бросают не только конфетти, но и огненные взгляды, воспламеняющие сердца! Цветочный дождь был наградой за мою речь.

Вслед за тем я наткнулся на разряженную барыню, шествовавшую под руку с кавалером; путь нам преградила толпа затеявших свалку пульчинелей, и барыне пришлось отведать моего красноречия.

— Синьора! — начал я. — Так-то вы исполняете предписания римско-католической церкви? Увы, где теперь найдешь Лукрецию, супругу Тарквиния Коллатина. Вы и многие вам подобные отправляете на время карнавала ваших почтенных мужей в монастырь в Трастевере, клянясь, что и сами будете вести богобоязненную,

тихую жизнь, сидеть дома, в то время как они станут истязать свою плоть, молиться и работать день и ночь в стенах монастыря! А вместо того вы себе бегаετε по улицам с кавалерами?! Эге, синьора! Я притяну вас к суду на основании параграфа шестнадцать статьи двадцать седьмой!

Тяжеловесный удар веером по щеке был мне ответом; судя по основательности удара, я нечаянно угодил барыне не в бровь, а в самый глаз.

— Ты спятил, Антонио?! — шепнул мне ее кавалер, и затем оба исчезли в толпе сбиров, греков и пастушек. Но мне довольно было и этих немногих слов — я узнал Бернардо. Кто же, однако, была его дама?

— Luogi! Luogi! Patroni! — кричали барышники, торговавшие местами, и крики их спутали все мои соображения. Да и где тут было соображать! Вокруг меня плясала толпа увешанных колокольчиками арлекинов, а рядом шагал на высоких ходулях в рост человека другой адвокат. Увидав коллегу, то есть меня, он начал насмехаться над моим низким положением и уверять, что только он один может выигрывать процессы: на земле, где пресмыкаюсь я, нет справедливости; ее надо искать только тут. При этом он указал на окружавшее его воздушное пространство и зашагал дальше.

На площади Колонна играл оркестр и резвые докторессы и пастушки весело плясали вокруг

одиноких групп солдат, машинально расхаживавших тут для поддержания порядка. Я было опять начал забавную речь, но явился какой-то писарь, и мое красноречие пропало даром: слуга писаря, бежавший впереди его, так неистово зазвонил в колокольчик над самым моим ухом, что я сам перестал слышать свои слова; затем прогремел и пушечный выстрел — сигнал к разъезду экипажей и окончанию празднества на сегодня. Я добыл себе местечко на подмостках; внизу волновалось море человеческих голов, не поддававшееся усилиям солдат очистить место для лошадей, которые скоро должны были промчаться по улице.

В конце Корсо, обращенном к площади дель Пополо, уже стояли за протянутой поперек улицы веревкой полуодичавшие лошади. К спинам их был привязан горящий трут, за ушами прикреплены маленькие ракеты, а на боках железные бляхи с острыми шипами, пришпоривавшими лошадей во время бега. Конюхи едва сдерживали животных. Раздался пушечный выстрел, веревка упала, и лошади вихрем понеслись по Корсо. Мишурные украшения шуршали, гривы и пестрые ленты развевались по воздуху, из-под копыт сверкали искры, народ неистово гикал лошадям вслед и, едва те пронеслись, снова сомкнулся за ними, как волны за килем корабля.